

# Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ

*Жизнь и творчество*



Павел  
Висковатый



Жизнеописания знаменитых людей (ЖЗЛ)

Павел Висковатый

**Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Жизнь и творчество**

«ЭКСМО»

1891

УДК 821.161.1.09 Лермонтов М.Ю.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8 Лермонтов М.Ю.

**Висковатый П. А.**

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество /  
П. А. Висковатый — «Эксмо», 1891 — (Жизнеописания  
знаменитых людей (ЖЗЛ))

ISBN 978-5-04-095926-6

Книга П.А. Висковатого принадлежит к классическим трудам XIX века. Исследователь опирался на свидетельства людей, лично знавших поэта, и эта работа по праву считается первоисточником для изучения жизни и творчества Лермонтова. Биографией Лермонтова Висковатый завершил подготовленное им «Полное собрание сочинений» поэта, приурочив выход книги к 50-летию со дня гибели поэта. По словам Висковатого, на этот главный труд жизни его побудила «та страстная любовь», которая с детства привязывала его к памяти Лермонтова.

УДК 821.161.1.09 Лермонтов М.Ю.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8 Лермонтов М.Ю.

ISBN 978-5-04-095926-6

© Висковатый П. А., 1891  
© Эксмо, 1891

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Часть I                           | 6  |
| Глава I                           | 6  |
| Глава II                          | 18 |
| Глава III                         | 26 |
| Глава IV                          | 36 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 38 |

**Павел Александрович Висковатый**  
**Михаил Юрьевич Лермонтов.**  
**Жизнь и творчество**

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

## Часть I

### Детство и первая юность

#### Глава I

*Бабушка поэта Е. А. Арсеньева. – Отец и мать. – Рождение М. Ю. Лермонтова. – Семейная жизнь родителей. – Смерть матери и разлука с отцом. – Детские забавы. – Воспитатели и товарищи детства. – Поездки на Кавказ. – Первая любовь*

Горячо любила Михаила Юрьевича Лермонтова воспитавшая его бабка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, и память о ней тесно связана с именем поэта. Она лелеяла его с колыбели, выходила больным ребенком, позаботилась дать ему блестящее и серьезное для того времени образование, сосредоточила на нем всю свою любовь и заботы. В преклонных летах, частью именно из-за этой беззаветной преданности к внуку, пользовалась она всеобщим уважением и не раз успевала отвращать своим заступничеством серьезную опасность, грозившую поэту. Когда его не стало, она выплакала по нему свои старые очи. Ослабевшие от слез веки падали на них, и, чтобы глядеть на опостылый мир, старушке приходилось поддерживать их пальцами.

По рассказам знавших ее в преклонных летах, Елизавета Алексеевна была среднего роста, стройна, со строгими, решительными, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли ей общество и лиц, которым приходилось с ней сталкиваться. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и никогда никому не стеснялась высказывать то, что считала справедливым. Прямой, решительный характер ее в более молодые годы носил на себе печать повелительности и, может быть, отчасти деспотизма, что видно из ее отношения к мужу дочери – отцу нашего поэта. С годами, под бременем утрат и испытаний, эти черты сгладились – мягкость и теплота чувств осилили их, – хотя строгий и повелительный вид бабушки молодого Михаила Юрьевича доставил ей имя Марфы Посадницы среди молодежи, товарищей его по юнкерской школе. В обширном кругу ее родства и свойства именовали ее просто «бабушка».

Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, была дочь богатого помещика Алексея Емельяновича Столыпина, давшего многочисленному своему семейству отличное воспитание. Многие из членов этой семьи представляли собой людей с недюжинными характерами, самостоятельных и даровитых. Сперанский был с ними в самых приятных отношениях, и они поддерживали дружбу с ним даже и во время его опалы, когда многие боялись иметь к нему какое-либо отношение<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Это видно из переписки Сперанского с дочерью [см. Р. Арх., 1868 г.]. См. книгу барона Корфа: «Жизнь графа Сперанского», СПб., 1861 г., стр. 54, 55, 127, 131, 167, 273 и 368. С сыном Алексея Емельяновича, Аркадием Алексеевичем Столыпиным (1777–1825), бывшим обер-прокурором сената, Сперанский оставался в деятельной переписке [см. Р. Арх. 1869 года, стр. 1682–1708 и 1966 и дал.]. Кроме этого Аркадия Алексеевича (по счету второго брата), женатого на дочери знаменитого графа Николая Семеновича Мордвинова, у Арсеньевой были братья: 1) старший Александр Алексеевич – адъютант Суворова; 2) Дмитрий Алексеевич – генерал-лейтенант; 3) Афанасий Алексеевич (1788–1866), служивший с отличием храброго офицера в артиллерии; был саратовским предводителем дворянства, женат на Устиновой, памятен в Москве своим хлебосольством и, по уверению Лонгинова, был особенно любим и почитаем Лермонтовым [Р. Стар., 1873 г., т. VII, стр. 381]; 4) Николай Алексеевич, известный своей храбростью, командир Ямбургского полка [«Истор. Ямб. полка», стр. 679–696]; он был в Севастополе губернатором и погиб в 1830 году во время чумного восстания, так называемого «бабьего бунта» [Русь, 1880 г., № 3; тоже Р. Арх. 1868 г., стр. 1108 и Р. Стар. 1873 г., т. VII, стр., 566]. Сестер у Арсеньевой было три: старшая была за Евреиновым, Екатерина – за Хостатовым и Наталья – за Григорием Даниловичем Столыпиным (однофамильцем). Лонгинов ошибается, говоря [Р. Стар., 1873, т. VII, стр. 381 и 566], что одна из сестер была за Шан-Гиреем, – за ним замужем была племянница Арсеньевой, дочь Хостатовой – Марья Акимовна. – А. М. Тургенев в записках своих [Русск. Старина, 1885 г. ноябрь, стр. 276

Сам Алексей Емельянович был человек бывалый, упрочивший состояние свое винными откупам, учрежденными при Екатерине II. Событыльник графа Алексея Орлова, Алексей Емельянович усвоил себе и повадки, и вкусы его. Он был охотник до кулачных боев и разных потех, но всему предпочитал театр, который в симбирской его вотчине был доведен до возможного совершенства и, перевозимый хлебосольным хозяином в Москву, возбуждал общее удивление. Актерами были крепостные люди, но появлялись на сцене порой и домочадцы, и гости.

Дочери Алексея Емельяновича, девицы крепкого сложения, рослые и решительные, повыходили замуж уже в почтенном возрасте. Елизавета Алексеевна, бабка Лермонтова, сочеталась браком с гвардии поручиком Михаилом Васильевичем Арсеньевым, который был моложе ее лет на восемь.

Арсеньев был членом большой семьи, владевшей селом Васильевское в Тульской губернии, Ефремовского уезда. Женившись, Михаил Васильевич переехал с женой в имение Тарханов, Пензенской губернии, Чембарского уезда. В Васильевском оставались жить родные сестры его, девицы Варвара и Марья Васильевны, вдовая Дарья Васильевна да четыре его брата. Бывая в Москве и перекочевывая из нее в Пензенскую губернию, Арсеньевы подолгу гостили у них в Васильевском. От брака этого была всего одна дочь – Марья Михайловна. Отец ее, по рассказам, умер неожиданно и при необыкновенных обстоятельствах.

Хотя старушка Арсеньева впоследствии охотно говорила о счастливом супружестве<sup>2</sup>, но в действительности сравнительно молодой муж чувствовал себя, кажется, не вполне счастливым с властолюбивой женой. Он увлекся соседкой-помещицей, княгиней или даже княжной Манвой. Елизавета Алексеевна вспылала ревностью к своей счастливой сопернице и похитительнице ее прав. Между женой и мужем произошла бурная сцена. Елизавета Алексеевна решила, что ноги соперницы ее не будет в Тарханах. Между тем как раз к вечеру 1 января охотники до театральных представлений Арсеньевы готовили вечер с маскарадом, танцами и театральным представлением *новой* пьесы – шекспировского Гамлета в переводе Висковатова<sup>3</sup>. Гости начали съезжаться рано. Михаил Васильевич постоянно выбегал на крыльцо, прислушиваясь к знакомым бубенчикам экипажа возлюбленной им княжны. Полная негодования, Елизавета Алексеевна следила за своим мужем, с которым она уже несколько дней не перекидывалась словом. Впоследствии оказалось, что она предусмотрительно послала навстречу княжне доверенных людей с какой-то энергичной угрозой. Княжна не доехала до Тархан и вернулась обратно. Небольшая записка ее известила о случившемся Михаила Васильевича.

Что было в этой записке? Что вообще происходило между Арсеньевым и женой?.. Дело кончилось трагически. Пьеса разыгрывалась господами, некоторые роли исполнялись актерами из крепостных. Сам Арсеньев вышел в роли могильщика в V действии. Исполнив ее, Михаил Васильевич ушел в гардеробную, где ему и была передана записка княжны. Пришед-

и декабрь, стр. 473] относится и Столыпину и особенно к дочерям его неблагосклонно.

<sup>2</sup> Рассказы о бабушке Арсеньевой я записал со слов г-жи Гельмерсен, урожден. баронессы Россильон (†1885 г. в Дерпте), муж которой Ал. Петрович Гельмерсен был командиром роты школы юнкеров. Он за болезнью или за отсутствием Шлиппенбаха (начальника всей школы) исполнял его должность. Многие юнкера, в том числе и Лермонтов, были вхожи в семью Гельмерсена. Через внука познакомилась с нею и бабушка Арсеньева. Однажды в обществе, в квартире Гельмерсена, заговорили о редких случаях счастливого супружества. «Я могу говорить о счастье, – заметила бабушка Лермонтова. – Я была немолода, некрасива, когда вышла замуж, а муж меня баловал... Я до конца была счастлива». Одна из присутствовавших, молодая женщина, тоже стала уверять, что и она весьма счастлива. «Ты богата, молода и хороша, – вернула бабушка, всем говорившая «ты», – вышла замуж за старика, – как же ему тебя не баловать?» См. тоже, что рассказал о бабушке Лонгинов в Современ., 1856 г., № 6, стр. 162.

<sup>3</sup> Гамлет в перделке Сумарокова существовал с 1748 г., следовательно, не мог называться новой пьесой. Перевод или скорее перделка Степана Ивановича Висковатова была напечатана в первый раз в 1811 году, но в театре разыгрывалась раньше.

шие затем гости нашли его отравившимся. В руках он судорожно сжимал полученное извещение<sup>4</sup>.

Во время трагической смерти отца Марье Михайловне было лет пятнадцать. Мать страстно любила дочь свою, и, кажется, эта беззаветная привязанность вызвала охлаждение к мужу. Однако со смертью его проснулись воспоминания первых счастливых лет супружества, и Елизавета Алексеевна старалась устроить жизнь свою в прежних рамках. Как при муже, она каждый год проводила несколько месяцев в Москве, куда ездили из пензенского имения, посещая и останавливаясь на пути у родных и знакомых помещиков.

Возвращаясь однажды из Москвы, мать с дочерью заехали в Васильевское, к Арсеньевым, да и загостились у них. С Арсеньевыми находилась в большой дружбе семья Лермонтовых, жившая по соседству в имении своем Кроптовка. Она состояла из пяти сестер<sup>5</sup> и брата Юрия Петровича, который был воспитан в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, а потом служил в нем и вышел в отставку по болезни в 1811 году с чином капитана<sup>6</sup>. Таким образом была прервана довольно успешная карьера 24-летнего офицера. Объясняется отставка, кажется, необходимостью переехать в имение и заняться хозяйством, с которым сестры не могли справиться.

Красивый молодой человек с блестящими столичными приемами произвел на Марью Михайловну сильное впечатление. Женское население Кроптовки и Васильевского жарко принялось за дело, и, к радости или к неудовольствию Елизаветы Алексеевны, молодые люди были помолвлены, и Марья Михайловна приехала с матерью в Тарханы объявленной невестой.

Родня Арсеньевой, кажется, не очень сочувственно отнеслась к проектированному браку и недоброжелательно глядела на бедного капитана, принадлежавшего не к родовитому их кругу. Венчание происходило в Тарханах, с обычной торжественностью при большом съезде гостей. Вся дворня была одета в новые платья. Среди гостей находились сестра Юрия Петровича и мать его Анна Васильевна.

Хотя Юрий Петрович, как увидим ниже, и происходил от древней шотландской фамилии, рано переселившейся в Россию, и предки его занимали видные должности при первых царях из дома Романовых, но род их обеднел, средства оскудели, и сам Юрий Петрович, как и другие,

<sup>4</sup> Похоронен М. В. Арсеньев в фамильной часовне в Тарханах. Над ним женой поставлен мраморный монумент с надписью на передней стороне: скончался 1810 года, 2-го января. Справа написано: Михаил Васильевич Арсеньев. С левой стороны: родился 1768 года, 8-го ноября. – Сопоставляя числа, выходит, что Арсеньев действительно был на 8 лет моложе жены, скончавшейся в 1845 году 85-летней старухой. Рассказ о смерти Арсеньева слышан мною от близких к семье Ман-ых людей, но еще раньше, в 1881 году, в Тарханах мне сообщали старожилы разные вариации смерти Арсеньева. Говорили, между прочим, что в Тарханах съехавшиеся на святках гости задумали рядиться. Ряженные собрались в зале, но вдруг, среди общего веселья, заметили, что одного из кавалеров недостает. Пошли отыскивать его в мужскую уборную и наткнулись на Михаила Васильевича, лежавшего мертвым на полу, в костюме и маске. Говорили, что он умер от удара. См. статью мою в Русской Мысли, октябрь 1881 г., но только тут я не поместил рассказа Александры Суминой, бывшей дворовой девушки Арсеньевой, старушки еще довольно бодрой, доживавшей свой век в Тарханах. Когда я ее видел, ей было уже за 80 лет (старожилы утверждали, что ей кончается 9-й десяток). Она утверждала, что была девчонкой на побегушках, когда умер Арсеньев, и помнила только, что «барин с барыней поборанились. Гости в доме, а барин все на крыльцо выбегали. Барыня сердчала. А тут барин пошел с заступом к гостям и очень жалостно говорили, а потом ушли к шкафчику, да там выпили, а там нашли их в уборной помершими. Барыня оченно убивалась» и т. д. Уж более поздние сообщения пояснили мне сбивчивые рассказы старухи. Очевидно, Арсеньев с заступом перед гостями был в роли могильщика. От других старожилов слышал я рассказ в подобном же роде [см. Живописн. Обзорение, 1884 г., № 39].

<sup>5</sup> Наталья, Александра, Авдотья, замужем за Пожоговым-Отрошкевич, Екатерина (потом вышедшая за Свинына) и Елена, вышедшая за Петра Вас. Виолева. Г. Никольский в статье «Предки М. Ю. Лермонтова», Русск. Стар., 1873 г., т. VII, на стр. 553 ошибочно называет лишь двух сестер Юрия Петровича: Екатерину и Елену, основываясь частью на показаниях М. Н. Лонгинова.

<sup>6</sup> Сведений о Юрии Петровиче очень немного. Родился он в 1787 г. и воспитывался в 1-м кадетском корпусе, откуда в 1804 году октября 29-го, 17 лет от роду, был выпущен в Кексгольмский пехотный полк прапорщиком. Однако менее чем через 11 месяцев его переводят на службу в только что покинутый им кадетский корпус, что, конечно, может указывать на то, что молодой человек был у своего начальства на особенно хорошем счету. В 1810 году получает он чин поручика, а 7 ноября 1811 года увольняется в отставку, по болезни, с чином капитана и с мундиром. Во весь срок семилетней службы Лермонтов пользовался вниманием начальства. Три раза было ему объявлено «Высочайшее удовольствие и благодарность» [указ об отставке см. в Русск. Стар., 1873 г., т. VII, стр. 563].



вряд ли знал хорошо свою родословную. Это можно видеть из того, что сын его еще в 1834 году не имел точных сведений о роде своем и обращался к родственнику своему за гербовой печатью, чтобы вырезать герб на своей<sup>7</sup>.

Выйдя замуж, Марья Михайловна не получила в приданое недвижимого, и за ней считалось всего 17 душ без земли, вывезенных покойным отцом из его тульской деревни. Зато мужу ее, Юрию Петровичу, предоставлено было управлять имениями матери, селом Тарханы и деревней Михайловская. Он и распоряжался этими имениями до самой смерти жены полным хозяином – «вошел в дом», по выражению старожилов. Молодые выехали из Тархан в Москву, когда состояние здоровья Марьи Михайловны этого потребовало. За ними последовала и Елизавета Алексеевна.

Лермонтовы поселились в доме генерала-майора Федора Николаевича Толя<sup>8</sup> около Красных ворот. Здесь у них со 2 на 3 октября родился сын. Крещен он был 11 октября и в честь деда Арсеньева наречен Михаилом<sup>9</sup>. И в этом тоже заметна настойчивость характера бабки Арсеньевой, потому что из рода в род Лермонтовы именовались то Петром, то Юрием. Поэт наш первый в длинном ряду предков получил нетрадиционное имя, и отец его Юрий Петрович согласился на это неохотно<sup>10</sup>.

Малютка и мать его были окружены всевозможными заботами. Из Тархан уже вперед, до срока, прислали двух крестьянок с грудными младенцами. Врачи выбрали из них Лукерью Алексеевну в кормилицы к новорожденному. Она долго потом жила на хлебах в Тарханах, и Михаил Юрьевич уже взрослым не раз навещал ее там, справлялся о житье-бытье и привозил подарки<sup>11</sup>. Из Москвы Лермонтовы с бабушкой и грудным ребенком своим вернулись в Тарханы, и Юрий Петрович выезжал из них лишь иногда по хозяйственным делам то в Москву, то в тульское имение<sup>12</sup>.

Супружеская жизнь Лермонтовых не была особенно счастливой; скоро даже, кажется, произошел разрыв или, по крайней мере, сильные недоразумения между супругами. Что было причиной их, при существующих данных определить невозможно. Юрий Петрович охладел к

<sup>7</sup> Рассказ Ивана Николаевича Лермонтова в Р. Стар., 1873 г., т. VII, стр. 393.

<sup>8</sup> Статья Розанова – Русск. Стар., 1873 г., т. VIII, стр. 113, и зам. Лонгинова – Русск. Стар., т. VII, стр. 380. «Дом Толя, – говорит Розанов, – перешел, вероятно, к Бурову, потом к иностранцу Пенанд, а через 6 лет к Голикову».

<sup>9</sup> Для совершения обряда крещения были приглашены из церкви Трех Святителей протоиерей Николай Петрович Другов, дьякон Петр Федорович, дьячок Яков Федорович и пономарь Алексей Никифорович. Восприемником был коллежский ассессор Фома Васильевич Хотяинцев, а восприемницей – бабка новорожденного Арсеньева. Метрическое свидетельство напечатано в Русской Мысли 1881 г., ноябрь.

<sup>10</sup> По указаниям Хвостовой [записки Е. А. Хвостовой, стр. 186], Лермонтов родился в 1815 году. Это утверждает и Лонгинов, весьма, впрочем, ненадежный в своих показаниях, что не раз будем иметь случай доказать [Русск. Вестн., 1860 г., № 8, стр. 383, и Русск. Стар., 1873 г., т. VII, стр. 380]. В Петербургских Губернских Ведомостях 1867 года, № 50, помещена статья Прозина: «Выдержки из моего дорожного журнала». В статье этой описывается село Тарханы и могила Лермонтова, на которой г. Прозин прочел: «Лермонтов родился 30 октября 1814 г.». Описания памятника чрезвычайно различны. Так, в Илл. Газете [1867 г., № 12] говорилось, что на памятнике кроме надписи «М. Ю. Лермонтов» больше ничего нет [переп. с «Зап. Хвостовой», стр. 254]. В Русск. Художеств. Листке [1 марта 1862 г., № 7] помечено, что Лермонтов родился 3 октября 1814 г. По точным описаниям г. Журавлева, проверенным мною на месте, памятник имеет следующие надписи. На передней стороне: «Михаил Юрьевич Лермонтов»; на правой: «скончался 1841 г. 15 июля»; на левой: «родился в 1814 г. 3 октября». Сам поэт праздновал день своего рождения 3 октября [см. письмо к нему Верещагиной в Русск. Обзор., август 1890 г., стр. 734]. Г. Розанов поместил в Русск. Стар., 1873 г., стр. 113, точную справку из архива московской консистории, в коей говорится, что Лермонтов родился 2 октября. Бабушка праздновала день рождения Лермонтова 3 октября, она же и поставила ему памятник и, конечно, не ошиблась бы. Примиряя оба сведения, я полагаю, что Лермонтов родился со 2-го на 3 октября. Крестивший Лермонтова Н. П. Другов в свое время пользовался известностью в духовном мире [подробная биография в Душеполезном Чтении 1866 года, кн. VI]. И ныне священническое место при церкви Трех Святителей находится в роде Другова.

<sup>11</sup> В Тарханах и по сие время живут потомки Лукерьи, сохранившие прозвище «Кормилициных».

<sup>12</sup> Обыкновенное предположение биографов (Дудышкин и за ним другие), будто мать Лермонтова увезла его в Тарханы, а отец оставался жить в тульском своем имении, опровергается сведениями, собранными в Тарханах. Сведениями этими я обязан Петру Николаевичу Журавлеву, которому приношу искреннюю благодарность. Ему я обязан данными о бабушке, отце и матери поэта и юности его. Рассказы старожилов, выписки из метрик, надписи могильных памятников и разные указания были им доставлены мне с готовностью и точностью, много облегчившие мои поиски.

жене. Может быть, как это случается, ревнивая любовь матери к дочке, при недоброжелательности к мужу ее, усугубила недоразумения между ними. Может быть, распущенность помещичьих нравов того времени сделала свое, но только в доме Юрия Петровича очутилась особа, занявшая место, на которое имела право только жена. Звали ее Юлией Ивановной, и была она в доме Арсеньевых в их тульском имении, где увлекся нежным к ней чувством один из членов семьи. Охраняя его от чар Юлии Ивановны, последнюю передали в Тарханы, в качестве якобы компаньонки Марьи Михайловны. Здесь ей увлекся Юрий Петрович, от которого ревнивая мать старалась отвлечь горячо любящую дочку. Этот эпизод дал повод Арсеньевой сожалеть бедную Машу и осыпать упреками ее мужа. Елизавета Алексеевна чернила перед дочерью зятя своего, и взаимные отношения между супругами стали невыносимы. Временная отлучка Юрия Петровича, поступившего в ополчение, не поправила их. Если сопоставить немногочисленные сведения о Юрии Петровиче, то это был человек добрый, мягкий, но вспыльчивый, самодур, и эта вспыльчивость, при легко воспламенявшейся натуре, могла доводить его до суровости и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовместимым даже с условиями порядочности<sup>13</sup>. Следовавшие затем раскаяния и сожаления о случившемся не всегда были в состоянии искупить содеянное, но, конечно, могли возбуждать глубокое сожаление к Юрию Петровичу, а такое сожаление всегда близко к симпатии.

Немногие помнящие Юрия Петровича называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщинам, привлекательным в обществе, веселым собеседником, «*bon vivant*», как называет его воспитатель Лермонтова Зиновьев. Крепостной люд называл его «добрым, даже очень добрым барином». Все эти качества должны были быть весьма не по нутру Арсеньевой. Род Столыпиных отличался строгим выполнением принятых на себя обязанностей, рыцарским чувством долга и чрезвычайной выдержкой – черты, отличавшие потом друга и товарища Михаила Юрьевича Алексея Аркадьевича Столыпина, известного под именем «Монго», который в обществе и среди товарищей почитался образцом благородства и рыцарства. В Юрии Петровиче выдержки-то именно и не было. Старожилы рассказывают, как во время одной поездки с женой всплывший Юрий Петрович поднял на нее руку.

Факт этого грубого обращения был последней каплей в супружеской жизни Лермонтовых. Она расстроилась, хотя супруги, избегая открытой распри, по-прежнему оставались жить с бабушкой в Тарханах.

Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослой все еще выглядела хрупким, нервным созданием. Передраги с мужем, конечно, не были такого свойства, чтобы благотворно действовать на ее организм. Она стала хворать. В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-службой, носившим за ней лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешеньем и помощью; помнили, как возилась она с болезненным сыном. И любовь, и горе выплакала она над его головой. Марья Михайловна была одарена душой музыкальной. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепиано, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою.

Наконец злая чахотка, давно стоявшая настороже, схватила слабую грудь молодой женщины. Пока она еще держалась на ногах, люди видели ее бродящей по комнатам господского дома, с заложенными назад руками. Трудно бывало ей напевать обычную песню над колыбелью Миши. Постучалась весна в дверь природы, а смерть – к Марье Михайловне, и она слегла. Муж в это время был в Москве. Ему дали знать, и он прибыл с доктором накануне рокового дня.

<sup>13</sup> Сообщения г. Журавлева. – О Юрии Петровиче рассказывал мне тоже и г. Зиновьев, бывший учитель М. Ю. Лермонтова, выдавший не раз отца поэта в Москве в 1828, 29 и 30 годах.

Спасти больную нельзя было. Она скончалась на другой день по приезду мужа. Ее схоронили возле отца, и на поставленном мраморном памятнике еще и теперь читается надпись:

ПОД КАМНЕМ СИМЪ ЛЕЖИТ ТЕЛО  
МАРИИ МИХАЙЛОВНЫ  
ЛЕРМОНТОВОЙ,  
УРОЖДЕННОЙ АРСЕНЬЕВОЙ,  
скончавшейся 1817 года, февраля 24 дня, в субботу.  
Житие ей было 21 годъ, 11 месяцевъ и 7 дней.

Что произошло между мужем и матерью покойной, неизвестно, но только Юрий Петрович по смерти жены оставался в Тарханах всего 9 дней и затем уехал к себе в Кроптовку.

Убитая горем, Елизавета Алексеевна приказала снести большой барский дом в Тарханах, свидетеля смерти ее мужа и любимой дочери, и воздвигла на его месте церковь во имя Марии Египетской. Рядом с церковью она построила небольшое деревянное здание с мезонином, где и поселилась с внуком своим. Этот дом в Тарханах уцелел и по сей день<sup>14</sup>.

Через несколько времени после отъезда своего из Тархан Юрий Петрович потребовал к себе сына. 5 июня Сперанский пишет брату Арсеньевой Аркадию Алексеевичу Столыпину: «Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода: Лермонтов требует к себе сына и едва согласился оставить еще на два года. Станный и, говорят, худой человек; таков, по крайней мере, должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление»<sup>15</sup>. Рассуждение, впрочем, немного странное – называть желание отца иметь при себе сына «оскорблением бабушки». Вообще отзыв Сперанского, очевидно, не знавшего лично Юрия Петровича, надо принимать осторожно. Факт, что Юрий Петрович, несмотря на свое раздражение против жены и тещи, оставляет сына у бабушки, скорее доказывает его мягкость. Предположить, что он не любил сына или оставлял его у других по равнодушию к нему, трудно. Зачем ему в таком случае было требовать сына к себе? Зачем сдаваться на просьбы и представления бабушки, решаясь наконец быть в разлуке с сыном еще только два года? Миша был тогда всего трех лет. Отец рассудил, что уход за ним под наблюдением любящей его богатой бабушки будет лучше, нежели у него, вдовца с весьма ограниченными средствами. Дальше мы увидим, что взаимные отношения отца и сына были душевные и любящие. Со стороны чувства к своему ребенку упрекать Юрия Петровича, кажется, нельзя.

Глубоко подавленная смертью дочери, Елизавета Алексеевна перенесла на внука всю свою любовь и приязнь. Она видела в нем средоточие всего, что было отнято судьбой в лице ее мужа и потом дочери. Этот внук носил имя своего деда; умирающая дочь поручила ей беречь его детство. Кроме Миши, у нее никого не оставалось на свете. Она с ним старалась не расставаться; он спал в ее комнате, она наблюдала за каждым его шагом, страшилась малейшего нездоровья. Рожденный от слабой матери, ребенок был не из крепких. Если случалось ему занемогать, то в «деловой» дворовые девушки освобождались от работ и им наказывали молиться Богу об исцелении молодого барина.

Приставленная со дня рождения к Мише бонна немка Христиана Осиповна Ремер и теперь оставалась при нем неотлучно. Это была женщина строгих правил, религиозная. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближним, даже и к тем, которые по положению

---

<sup>14</sup> По смерти бабушки управляющий Тарханами Горчаков – из крепостных – едва не продал дом. Затем в 1867 году дом было совсем решили продать на снос и все разошлось из-за 50 рублей. Его даже уже стали разбирать, и г. Прозин [Пензенские Вед., 1876 г., № 50] видел мезонин снятым с главного корпуса. Затем дом был приведен в прежний порядок, с незначительными изменениями во внешнем виде. В 1881 году я снял с него план внешнего вида и внутреннего расположения и передал его вместе с литографированным его изображением 1842 года в Лермонтовский музей. В каталоге музея, составленном г. Бильдерлингом, изображен дом с церковью, но ошибочно помечено, что в ней похоронен поэт. Похоронен он с полверсты от этого места в особом фамильном мавзолее.

<sup>15</sup> Русск. Архив, 1870 г., т. VIII, стр. 1136.

находились от него в крепостной зависимости. Избави Бог, если кого-либо из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит. Не любила этого Христиана Осиповна, стыдила ребенка, заставляла его просить прощения у обиженного. Вся дворня высоко чтит эту женщину, для мальчика же ее влияние было благотельно. Всеобщее баловство и любовь делали из него баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства, легко при недосмотре переходящий в детях в жестокость.

Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего, ни в чем ему не отказывала. Все ходило кругом да около Миши. Все должны были ему угождать, забавлять его. Зимой устраивалась гора, на ней катали Михаила Юрьевича, и вся дворня, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженные из дворовых, плясали, пели, играли кто во что горазд. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел!» – и ребенок делал ему посильное описание. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К Пасхе заготавливались крашеные яйца в громадном количестве. Начиная со Светлого Воскресения, зал наполнялся девушками, приходившими катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большой радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал:

– Бабушка, я выиграл!

– Ну, слава богу, – отвечала Елизавета Алексеевна. – Бери корзинку яиц и играй еще.

«Уж так веселились, – рассказывают тархановские старушки, – так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила!

А летом опять свои удовольствия. На Троицу и Семик ходили в лес со всей дворней, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было – страсть, на всех закуски готовили, всем угощение было».

Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее баловень, окруженный девушками. Уста ее шептали молитву. С нежнейшего возраста бабушка следила за играми внука. Ее поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Едва лепетавший ребенок с удовольствием повторял слова в рифму: «пол – стол» или «кошка – окошко», ему ужасно нравилось, и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своею радостью.

Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном. Величайшим удовольствием мальчика было ползать по нему и чертить мелом<sup>16</sup>.

Память о матери глубоко запала в чуткую душу мальчика: как сквозь сон, грезилась она ему; слышался милый ее голос. Потеряв мать на третьем году, он хотя смутно, но все-таки помнил ее. Замечено, что такие воспоминания могут западать в душу даже с двухлетнего возраста, выступая всю жизнь светлыми точками из причудливого мрака детских воспоминаний. В детстве звуки песни, петою ему матерью, всегда доводили Лермонтова до слез. Позднее он никак не мог вспомнить слов ее, но утверждал, что если бы услышал эту песню, она произвела бы на него прежнее действие [т. I, стр. 113]<sup>17</sup>.

Альбом матери он всегда возил с собой и еще 11-летним мальчиком на Кавказе вносил в него свои рисунки. Неразлучен с ним был и дневник матери<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Из рассказов С. А. Раевского. Материалы Хохрякова.

<sup>17</sup> Здесь и далее автор цитирует произв. М. Лермонтова по изданию *М. Лермонтов. Полное собрание сочинений*, тт. 1–4. Под ред. П. Висковатого. М., 1891. (*Прим. ред.*)

<sup>18</sup> Из рассказов А. П. Шан-Гирея. – Альбом этот мне случилось видеть в 1880 году уже сильно потертым. Приобрести мне его не удалось, но он описан г. Рыбкиным в Историческом Вестнике за 1881 г., т. VI, стр. 371. Дневника матери Лермонтова разыскать я не мог.

Окруженный заботами и ласками, мальчик рос баловнем среди женского элемента. Фантазия его рано была возбуждена. Если ему и не пришлось слышать русских народных сказок, о чем он так сожалел позднее, находя, что «в них больше поэзии, чем во всей французской словесности» [т. I, стр. 114], то все же голова ребенка полна была образов романтического мира.

Тогдашнее романтическое направление немецкой литературы уже давало себя знать, и немудрено, что его «мамушка», как он называл свою бонну-немку, немало передала ему рассказов, которые наполнили собой юную головку. [т. I, стр. 114]

Рано уже любил мальчик часами глядеть на луну, следить за разнообразными облаками, воображать в них рыцарей в шлемах, окружающих чудесное светило. Представлялось оно ему волшебницей, плавно идущей в свой чудесный замок, сопровождаемой дружиной верных защитников от опасных врагов – великанов, карлов и безобразных драконов и чудищ.

Во втором отрывке из неоконченной повести, имеющем, как и почти все писанное Лермонтовым, автобиографическое значение, изображается развитие характера мальчика – Саши Арбенина. Уже само имя Арбенина, столь часто встречающееся в разнородных сочинениях Лермонтова и всегда являющееся как бы прототипом свойств самого автора, дает нам право видеть в главных чертах Саши рассказ, взятый из истории детского развития самого Михаила Юрьевича. Саша Арбенин живет в деревне, окруженный женским элементом, под руководством няни. Няня эта заведует хозяйством, и с нею странствует Саша по девичьим, или же девушки приходят в детскую. «Саше с ними было очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами храбрости и картинами мрачными и понятиями противообщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать. Шести лет он уже заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок. Он семи лет умел уже прикрикнуть на непослушного лакея. Приняв гордый вид, он умел с презрением улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между тем присущая всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный камень сбивал с ног бедную курицу. Бог знает, какое направление принял бы его характер, если бы не пришла на помощь корь – болезнь опасная в его возрасте. Его спасли от смерти, но тяжелый недуг оставил его в совершенном расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ножки. Целые три года оставался он в самом жалком положении, и если бы он не получил от природы железного телосложения, то, верно, отправился бы на тот свет. Болезнь эта имела влияние на ум и характер Саши: он выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнем играть не должно. Но, увы, никто и не подозревал в Саше этого скрытого огня, а между тем он охватывал все существо бедного ребенка. В продолжение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Он воображал себя волжским разбойником среди синих и студеной волн, в тени дремучих лесов, в шуме битв, в ночных наездах, при звуке песен, под свистом волжской бури».

Для рано образовавшегося внутреннего, душевного мира поэта мальчик не находил выражения, и, как это всегда бывает в подобных случаях, сила фантазии и общения мысли устремилась на явления природы. Детская душа, как душа младенствующих народов, тесно примыкает к природе и, сама уходя в нее, в то же время привлекает ее к себе, олицетворяет, индивидуализирует. Поэтому-то в памяти особенно даровитых людей на всю жизнь сохраняются поразившие их фантазию картины природы. Только позднее ум начинает интересоваться человеком, и мы увидим, как Лермонтов, даже и в поэзии своей, долго сохраняет интерес к звездам, тучам,



в особенности ко всем величественным, мрачным или приветным явлениям природы и через них знакомит нас с состоянием души своей.

Воображение мальчика Лермонтова рано наполняли видения во сне и наяву. Еще в 1830 году вспоминает он сон, который видел восьми лет и который сильно подействовал на его душу [т. I, стр. 114]. Вспоминает он, как в те же годы случилось ему однажды ехать куда-то в грозу и как перед ним быстро несло по небу небольшое облако, «как бы оторванный клочок черного плаща», и долго в памяти поэта живет то грозное небо с клочком мрачной, словно бедой чреватой, тучи.

Как Саша Арбенин, Лермонтов перенес трудную и продолжительную болезнь. Он вообще был весьма золотушным ребенком, страдал «худосочием»<sup>19</sup>, и этому-то, между прочим, приписывала бабушка оставшуюся на всю жизнь кривизну ног своего внука. Желание искоренить следы этой болезни и вообще поправить слабый организм Мишеля побудило ее взять его на кавказские воды<sup>20</sup>.

Хотя Арсеньева и не ладила с своим зятем, но она не совершенно прекратила отношения с ним и его семьей. В 1825 году, когда бабушка опять повезла внука на кавказские воды, ее сопровождал Михаил Пожогин, женатый на родной тетке Михаила Юрьевича Авдотье Петровне Лермонтовой. Что Лермонтов ребенком бывал в имении отца, видно из приписки к стихотворению его «Гений», где он упоминает, что в 1827 году пребывал в ефремовской деревне.

Когда Михаил Юрьевич подрос и вступил в отроческий возраст, рассказывают старожилы села Тарханы, были ему набраны однолетки из дворовых мальчиков, обмундированы в военное платье, и делал им Михаил Юрьевич учение, играл в воинские игры, в войну, в разбойников. Товарищами были ему также родственники, жившие по соседству с Тарханами, в имении Апалиха<sup>21</sup>, принадлежавшем племяннице Арсеньевой Марии Акимовне Шан-Гирей. У нее были дети: дочь Екатерина и три сына, старший из которых, Аким Павлович, воспитывался с Мишей и всю жизнь оставался с ним в дружеских отношениях. Близость места жительства ежедневно сводила детей, учившихся у одних и тех же наставников. Поступив позднее в университетский пансион в Москве, Лермонтов еще долго остается в переписке с родной семьей и, говоря о занятиях своих, дает советы относительно занятий прежнего своего товарища и троюродного брата [т. V, стр. 373].

Желая создать для Мишеля вполне подходившую обстановку, было решено обучать его вместе со сверстниками, с которыми он делил бы тоже и часы досуга. Кроме Акима Шан-Гирей, в Тарханах года два воспитывались и двоюродные его братья со стороны отца: Николай и Михаил Пожогин-Отрошкевичи, два брата Юрьевых, временно князя Николай и Петр Максютковы и другие. Одно время в Тарханах жило десять мальчиков. Елизавета Алексеевна не щадила средств для воспитания внука. Оно обходилось ей до десяти тысяч рублей ассигнациями. На это-то она и указывала отцу, когда тот заводил речь относительно желания своего воспитывать сына при себе. Бедный человек, конечно, не был в состоянии сделать для Мишеля даже и части того, что делала бабушка.

Кроме обыкновенного курса наук Мишеля и сверстников обучали языкам французскому и немецкому, а из древних – латинскому и греческому. Последнему обучал грек из Кефалонии, бежавший в Россию во время смут, предшествовавших войне за освобождение Греции<sup>22</sup>. Но

<sup>19</sup> В детстве на нем постоянно показывалась сыпь, мокрые струпья, так что сорочка прилипала к телу, и мальчика много кормили серным цветом – так рассказывают в Тарханах. Е. А. Арсеньева, в разговорах с г-жой Гельмерсен, тоже говорила о болезненности Лермонтова в детстве и указывала на некоторую кривизну ног как на следствие ее. Эта болезненность побудила бабушку везти внука на серные кавказские воды. То же сообщает и Рыбкин [см. выше], стр. 372: «жидкий мальчик, здоровьем золотушный».

<sup>20</sup> Вопреки установившемуся мнению, что Лермонтов только 10-летним ребенком был на Кавказе, А. П. Шан-Гирей и другие утверждают, что Лермонтов был там и еще в более нежном возрасте.

<sup>21</sup> Ср. статью мою в Русской Мысли, октябрь, 1881 г.

<sup>22</sup> Сравн. Русск. Мысль там же, и свидетельство М. А. Пожогина-Отрошкевича в Русск. Арх., 1881 г., т. III, стр. 437.

успехи Мишеля у этого ученого политического выходца были не особенно блестящи, и импровизированный ментор скоро перешел на чисто практическую деятельность. Он занялся выделкой шкур собак и этому искусству научил окрестных крестьян, до сей поры им занимающихся.

Своих сверстников Мишель любил делить на два лагеря. Происходили военные игры, воздвигались и брались крепости, совершались переходы. Порой устраивались танцы и даже домашние спектакли. Внимание воспитателей было обращено также и на развитие эстетического вкуса в питомце. Кажется, одной из любимых забав мальчика было занятие театром марионеток, в то время весьма распространенным. Еще из Москвы Лермонтов просил тетку выслать ему «воски», потому что и в Москве он «делает театр, который довольно хорошо выходит, и где будут играть восковые фигуры» [письмо номер 1 к М. А. Шан-Гирей]. Аким Павлович Шан-Гирей хорошо помнил этих актеров-кукол с вылепленными самим Лермонтовым головами из воска. Среди них была кукла, излюбленная мальчиком-поэтом, носившая почему-то название «Berquin» и исполнявшая самые фантастические роли в пьесах, которые сочинял Мишель, заимствуя сюжеты или из слышанного, или из прочитанного.

Лепил Лермонтов недурно, и С. А. Раевский рассказывает [материалы Хохрякова], что двенадцати лет он «вылепил из воску спасение жизни Александра Великого Клитом при переходе через Граник». Слоны и колесница, украшенные бусами, стеклярусом и фольгой, играли тут главную роль.

Желая поправить здоровье внука, бабушка несколько раз возила его на кавказские воды<sup>23</sup>. У Столыпиных было имение Столыпиновка недалеко от Пятигорска<sup>24</sup>, а ближе к Владикавказу жила сестра Арсеньевой Хостатова. В 1825 году поехали туда многочисленным обществом: бабушка, кузины Столыпины, доктор Анзельм Левис, Михаил Пожогин, учитель Иван Капэ и гувернантка Христина Ремер – все это сопровождало Мишу<sup>25</sup>. Приехали в Пятигорск в начале лета и здесь съехались с Екатериной Алексеевной Хостатовой, прибывшей из своего имения.

В голове мальчика тогда бродило уже многое. Чуткий ко всем явлениям природы, черпая из них нескончаемый материал для жизни фантазии, Лермонтов не мог не поддаться обаянию величественного Кавказа. Впечатления эти коснулись отзывчивой души мальчика и вызвали новый мир жизни и любви. Вот тут-то встретился он с ребенком-девушкой, вызвавшей первую весеннюю грозу души и глубоко и надолго запавшей в память мальчика. Она была немногим моложе Лермонтова, лет девяти. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденные движения, а над ней – синее южное небо, упирающееся в седые вершины кавказских ледников, ниже – хребты гор, одетые причудливыми облаками, а вблизи – шум воды, бегущей меж скал по камням; вокруг – пышная зелень в блеске теплых лучей или облитая румяным закатом. Долго потом вспоминал мальчик-поэт этот Кавказ и время первой с ним встречи, время первого пробуждения души, и шестнадцатилетним юношей в тетрадах своих, в которых он изливал все чувства свои в стихотворной форме, он, вспоминая и славя Кавказ, как будто не в силах найти подходящую рифму и лад, пишет ему дифирамб стихотворной прозой:

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах; облаками меня одевали; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе...» [т. I, стр. 70].

Едва ли к чему-либо так пристрастилось сердце Лермонтова, как к Кавказу. На него он излил всю свою любовь, им он дышал. Кавказ открыл ему свои объятия, величественные, как

<sup>23</sup> По одним сведениям три, по другим два года кряду. – Старожилы в Тарханах помнили, что Миша, побывав на Кавказе, все им был занят, из воска лепил горы и черкесов и «играл в Кавказ».

<sup>24</sup> Она досталась А. П. Шан-Гирею и только года два до смерти его, в середине 80-х годов, была продана в чужие руки.

<sup>25</sup> Подробности в Русск. Мысли [октябрь 1881 г.]. По большей части гувернер Миши именуется: Иван Кап, у Лонгинова даже Кан, но А. П. Шан-Гирей помнил в Тарханах француза (эльзасца) Капэ (Capet), и тем же именем называет его Пожогин в Русск. Арх. [См. выше].

душа поэта, и объятия эти заменили ему ласки рано умершей матери, а позднее – любовь родной души, дружбу близких и далекую родину. В 1830 году в упомянутых черновых тетрадах через несколько страниц после воззвания к Кавказу он посвящает ему же еще стихотворение [т. I, стр. 75].

Хотя я судьбой, на заре моих дней,  
О, южные горы, отторгнут от вас!  
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.  
Как сладкую песню отчизны моей,  
Люблю я Кавказ.  
*В младенческих летах я мать потерял,  
Но мнилось, что в розовый вечера час  
Та степь повторяла мне памятный глас,  
За это люблю я вершины тех скал,  
Люблю я Кавказ.*  
Я счастлив был с вами, ущелья гор!  
Пять лет пронеслось, все тоскую по вас.  
*Там видел я пару божественных глаз.*  
И сердце лепечет, вспоминая тот взор:  
Люблю я Кавказ.

Тут же [т. I, стр. 110], 8 июля того же 1830 года, шестнадцатилетний Лермонтов делает описание этой своей ранней страсти:

«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?.. Мы жили большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти; я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиной в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая, это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату, не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда... И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они забыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию, а это было бы мне больно... Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность...

Нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священные...»

По возвращении с Кавказа бабушка с внуком вновь поселились в Тарханах. Это село на расстоянии 120 верст от Пензы, верстах в 12 от Чембар, уездного города с 3000 жителей, в близком расстоянии от большого села Крюковка. Едва выедешь из села этого, как в стороне покажется несколько изб среди густой зелени окружающих деревьев. Над ними высится скромный шпиль сельской колокольни. Это – Тарханы. Барский дом, одноэтажный с мезонином, окружен был службами и строениями. По другую сторону господского дома раскинулся роскошный сад, расположенный на холме. Кусты сирени, жасмина и розанов клумбами окаймляли цветник, от которого в глубь сада шли тенистые аллеи. Одна из них, обсаженная акациями,

сросшимися наверху настоящим сводом, вела под гору к пруду. С полугорья открывался вид на село с церковью, а дальше тянулись поля, уходя в синюю глубь тумана. Здесь мечтал своей детской душой пробужденный мальчик. Здесь переживал он вынесенные впечатления и лелеял мечты о девочке-ребенке, из которой слагался образ чудесного создания, молодой идеал юношеской фантазии.

Очевидно, к этому эпизоду детской любви относится стихотворение «Первая любовь» [т. I, стр. 153], писанное в 1830 году.

Образ девушки этой возникал пред ним в детских мечтах, в уединении деревенского барского сада, над прудом и полями родного села, в блеске лучей заходящего солнца, среди трепетно падающих листьев ко сну отходящего осеннего леса. Так слит образ этой девушки с воспоминаниями детства, что еще за полтора года до смерти прибегает он к нему, уходя душой из пестрой толпы шумно окружавшего его столичного общества:

И если как-нибудь на миг удастся мне  
Забыться, памятью к недавней старине  
Лечу я вольной, вольной птицей.  
И вижу я себя ребенком; и кругом  
Родные все места: высокий барский дом  
И сад с разрушенной теплицей.  
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,  
А за прудом село дымится – и встают  
Вдали туманы над полями.  
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты  
Глядит вечерний луч, и желтые листья  
Шумят под робкими шагами.  
И странная тоска теснит уж грудь мою.  
*Я думаю о ней, я плачу и люблю.*  
*Люблю мечты моей созданье,*  
*С глазами полными лазурного огня,*  
*С улыбкой розовой, как молодого дня*  
*За роцей первое сиянье...* [т. I, стр. 286]

## Глава II

*Переселение в Москву и воспитатель Капэ. – Боевые рассказы. – Влияние наполеоновских войн. – Капэ и Ле Гран. – Патриотические чувства. – Недовольство положением дел после 25-го года отражается на музе Лермонтова. – Новые наставники. – Поступление в Благородный Университетский пансион. – Его состояние в бытность в нем Лермонтова. – Наставники: Зиновьев, Мерзляков и другие*

Когда Лермонтову пошел 14-й год, решено было продолжать его воспитание в Благородном Университетском пансионе. В 1827 году бабушка повезла внука в Москву и наняла квартиру на Поварской. Теперь для Мишеля наступила новая жизнь: все пошло по-другому. Шумная рассеянная жизнь заменила прежнюю. В Тарханах и на Кавказе мальчик жил в простой, но поэтической обстановке, с людьми незатейливыми, искренно его любившими. Воспитатель его эльзасец Капэ был офицером наполеоновской гвардии. Раненым попал он в плен к русским<sup>26</sup>. Добрые люди ходили за ним и поставили его на ноги. Он, однако же, оставался хворым, не мог привыкнуть к климату, но, полюбив Россию и найдя в ней кусок хлеба, свыкся и глядел на нее как на вторую свою родину. И послужил же он ей, став наставником великого поэта.

Лермонтов очень любил Капэ, о котором сохранилась добрая память и между старожилками села Тарханы; любил он его больше всех других своих воспитателей. И если бывший офицер наполеоновской гвардии не успел вселить в питомце своем особенной любви к французской литературе, то он научил его тепло относиться к гению Наполеона, которого Лермонтов идеализировал и не раз воспевал. Может быть также, что военные рассказы Капэ немало способствовали развитию в мальчике любви к боевой жизни и военным подвигам. Эта любовь к бранным похождениям вязалась в воображении мальчика с Кавказом, уже поразившим его во время пребывания там, и с рассказами о нем родни его. Одна из сестер бабушки поэта Екатерина Алексеевна Столыпина была замужем за Хостатовым, жившим в своем имении близ Хасаф-Юрта по дороге из Владикавказа. Оно находилось недалеко от Терека и именовалось Шелковицей (Шелкозаводск) или «Земным раем», как называли его по превосходному местоположению<sup>27</sup>.

С таким названием еще можно было примириться, принимая в соображение несовершенство всего земного. Назвать имение «раем небесным» нельзя было уже потому, что небесное нам представляется мирным, а мира-то в этой местности тогда именно и не было: имение подвергалось частым нападениям горцев; кругом шла постоянная мелкая война. Однако Екатерина Алексеевна так привыкла к ней, что мало обращала внимание на опасность. Если тревога пробуждала ее от ночного сна, она спрашивала о причине звуков набата: «Не пожар ли?» Когда же ей доносили, что это не пожар, а набег, то она спокойно поворачивалась на другую сторону и продолжала прерванный сон. Бесстрашие ее доставило ей в кругу родни и знакомых шуточное название «авангардной помещицы»<sup>28</sup>.

С Хостатовой Лермонтов познакомился во время своих поездок на Кавказ, да и сама она приезжала навестить свою дочь М. А. Шан-Гирей, жившую в имении своем Апалиха, близ Тар-

---

<sup>26</sup> Во второй главе труда своего, напечатанного в 1881 году в XI кн. «Русской Мысли», я, введенный в заблуждение, приписывал Жандро свойства и влияние, которое имел на Лермонтова Капэ. Разъяснил мне ошибку А. П. Шан-Гирей, но я не успел ее исправить, и статья была напечатана с этим недосмотром. О Жандро ниже.

<sup>27</sup> Имение перешло в руки сына ее, известного храбреца Ан. Ан. Хостатова, а по смерти его около 1885 года к племяннику его, сыну Аким Павловича Шан-Гирея.

<sup>28</sup> Из рассказов о Лермонтове Аркадия Дмитриевича Столыпина, записанных мною в Орле со слов его в октябре 1880 г. Сравни, что говорит Лонгинов. [Р. Старина, 1873 г., т. VII, стр. 391 и там же, 1885 г., ноябрь, стр. 277].



хан. Мишель жадно прислушивался к волновавшим его фантазию рассказам о горцах, схватках удалых, набегам бранной жизни. С другой стороны, говорил ему на подобную же тему Капэ, да и вообще тогда все жило еще воспоминаниями о наполеоновских войнах.

То было на Руси время удивительное – эти годы после отечественной войны. Давно Россия на земле своей не видала врагов. Долгий и крепкий сон, которым спала особенно провинция, был нарушен. Очнувшийся богатырь разом почувствовал свою мощь, познал любовь свою к родине так, как сказала она в нем разве два века назад, в 1612 году, когда стихийные чувства пробудились, смолкла взаимная вражда мелких интересов, перестали существовать сословные предрассудки, забылись привилегии классов, притупились чувства собственности, и каждый, в ком не иссохла душа, – а таких людей, слава богу, было много – каждый чувствовал, что все его достояние, весь он принадлежит народу и земле родной. Этому народу, этой земле приносилось в дар достояние, как легко добытое, так и трудами накопленное. Оно приносилось в дар или прямо родине, или уничтожалось, чтобы не попало в руки врага и через то не послужило бы во вред родной земле.

Весь существовавший до той поры порядок был нарушен. Социальный строй общества изменился. Понятия «мое» и «твое» перестали существовать; все были поглощены заботами об общем достоянии народа. В общественном понятии воцарились равенство и братство, а за достижение свободы все равно бились и умирали. В России заговорили те же поднимающие дух истины, которые электризовали французский народ в эпоху Великой революции. Вот почему, несмотря на вражду, эти два народа именно в эту годину бед ближе познали друг друга и преклонились в лучших людях своих перед одними и теми же идеалами. Взаимные симпатии и удивление великодушным чертам характера держались упорно, несмотря на проснувшийся патриотизм. Удивительно, что пробудившееся у нас самоуважение, забытое было среди лжи и поклонения всему иноземному, никогда не доводило русских до ослепляющего самомнения. Еще Петр, победителем под Полтавой, в шатре своем

За учителей своих  
Заздравный кубок поднимает.

Пожегший добро свое русский, голодный и бесприютный, дружески относится к пленному французу. Говорят, Наполеон под Аустерлицем с соболезнованием и симпатией глядел на храбро погибших русских.

Однако зачем же превозносить русских? Не было ли того же одушевления и в Германии? – скажут мне. Да, и там было оно, и там были люди, которые жертвовали последними грошами своими на войну за освобождение. Да это было не то, – собственность свою вообще там не забывали. Где же уничтожали перед врагом свое добро? Где там горожане жгли города свои, крестьяне – избы и жатву, купцы – свои запасы? Где же горела Москва, Смоленск? Где купец Ферапонтов, который, увидав в своей лавке солдат, расхищавших добро его и насыпавших пшеничную муку в ранцы свои, кричал им: «Тащи все, ребята. Не доставайся дьяволам... Решилась Россия, решилась! Сам запалю»<sup>29</sup>.

«А разве мы не доказали в 12-м году, что мы – русские? Такого примера не было от начала мира... Мы – современники и не понимаем великого пожара в Москве, мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родились вместе с русскими. Мы должны гордиться, а оставить удивление потомкам и чужестранцам, – так рассуждает 17-летний Лермонтов. – Ура, господа, здоровье пожара Московского!..»<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Толстой. «Война и мир». – Сожжение Смоленска.

<sup>30</sup> «Странный человек», т. IV, стр. 203.

Трудно провести параллель между тогдашней Россией и Германией. Там сожжение своей собственности русскими казалось признаком варварства: «Русские не доросли еще до Eigenthumsgefühl'a (чувства уважения к своей собственности)», – поясняют немцы. Может быть, это и недостаток культуры. Может быть, «культуртрегеры» немцы и обучат нас иному, но только факт остается фактом, и идеи французской революции, разнесенные по лицу Европы наполеоновскими войнами, коснулись нас сильнее и отозвались в лучших умах наших, запечатлевших 25-летним страданием в Сибири свои декабрьские заблуждения.

Пусть декабристы наши повлекли за собой гонение на многие молодые, увлекавшиеся силы, погибшие рано, без прямой пользы родине, все же от них мы считаем новую эру умственного нашего развития. Это была наша первая эпоха возрождения умов, а эти умы воспитали наполеоновские походы. Не равнять тогдашнюю Россию с Германией по культуре и общему развитию, но только мы или то небольшое, что среди нас было тогда культурного, сильнее восприняли в себя идеалы добра и человеколюбия. Правительство русское еще боролось против подавляющей меттерниховской системы, и когда вся Германия склонилась под нее шею свою, Россия последняя бросилась в ее объятия печальной реакции, от которой не могли отвлечь ее утописты-мечтатели «союза благоденствия».

Удивительно, насколько лучше люди смотрели тогда на Наполеона. Поражала своим величием эта мощь человека, поднявшегося благодаря только собственной своей силе до величайшей власти, умевшего подавить многоголовую гидру анархии и междоусобия французского народа. Тут было что-то роковое, всепоглощающее и сокрушившееся само о другую, неизвестную ей, тоже роковую силу.

Пошел великан чужой земли на русского великана, пошел на дерзкий бой с неведомой ему силой. Да и сам-то русский великан сознавал ли свою силу, знал ли, где она у него таилась? Может быть, вследствие этого незнания и были так дерзки притязания рокового витязя чужой нам земли. Сошлись витязи;

Но улыбкою одною  
Русский витязь отвечал,  
Посмотрел, потрянул главою:  
Ахнул дерзкий и упал [т. I, стр. 236].

С удивлением, если не с благоговением, относились мы к личности Наполеона, и не было рабочего кабинета, где бы не находился столбик с чугунной куклой:

Под шляпой, с пасмурным челом,  
С руками, сжатыми крестом...

Войны с Францией не охладили симпатии русских к французам, а, напротив, усилили ее. Удивительно, что не только семьи наводнились воспитателями-французами, но даже в казенных заведениях можно было встретить французов-наставников, с полной симпатией относившихся к идеалам французской революции. Так, в императорском Александровском лицее профессор словесности был брат Марата, *«весьма уважавший память известного французского террориста и притязавший к демократическим идеям»*.

Рассказы Капэ, по-видимому, имели на Лермонтова влияние, подобное тому, какое на Гейне-ребенка имел влияние Ле Гран, солдат-барабанщик наполеоновской армии, стоявший в доме родителей поэта в Дюссельдорфе<sup>31</sup>. «Когда я не понимал слова «liberte», – рассказы-

---

<sup>31</sup> Heinrich Heine's Sämmtliche Werke. – Reisebilder: Das Buch «Le Grand», cap. VII–X. Сравни тоже «Strodtmann. H. Heine's Leben und Werke», т. I, стр. 19 и д.

ваит Гейне, – он бил марш «Марсельезы», и я схватывал значение слова. Когда я не понимал, что значит «egalite», он бил марш «са-іга, са-іга...», и я понимал...» Внимая Ле Грану, Гейне научился любить Наполеона. «Я видел переход через Симилон: впереди всех император, а за ним лезли, цеплялись храбрые гренадеры. Испуганные птицы с криком кружились над ними, а вдали слышался гром обвалов. Я видел императора на Лодиевском мосту с знаменем в руках. Я видел императора на лошади, в бою, у подножия пирамид, окруженного пороховым дымом и мамелюками. Я видел императора под Аустерлицем и слышал, как свистали пули над ледяной равниной. Я видел и слышал бой под Иеною, под Эйлау, под Ваграмом».

О разных славных битвах восторженно рассказывал своему питомцу Капэ. Но особенно его трогали рассказы о Бородинском сражении, и в этом случае мальчик-поэт не внимал своему наставнику, а всецело склонялся на сторону русских рассказчиков, которых было немало.

Рассказывали и стар и млад – и те, которые бились начальниками, и те, что сражались воинами-ратниками, – все эти восторженные патриоты, готовившиеся к смерти, чаявшие пасть за родину и накануне великой битвы облакавшиеся в чистые, белые рубахи, чтобы в них встретить славный конец. Да,

Все громче Рымника, Полтавы  
Гремит Бородино!.. [т. I, стр. 156] —

воскликает в патриотическом восторге 17-летний Лермонтов, набрасывая в 1831 году первый очерк стихотворения, из которого позднее выработалось знаменитое «Бородино».

Интерес к Франции и Наполеону поэт сохранил на всю жизнь. С 1830 года до 1841-го он неоднократно занимается французами и их императором. Суждение относительно их изменяется, но любовь к могучему вождю остается все та же<sup>32</sup>. С годами она даже увеличивается, и увеличивается именно тогда, когда он бичует французов:

Мне хочется сказать великому народу:  
Ты – жалкий и пустой народ, – [т. I, стр. 318]

жалкий до того, что дух Наполеона, примчавшийся в Париж на свидание с новой гробницей, где лежит его прах, пожалеет

О дальнем острове, под небом южных стран,  
Где сторожил его, как он, непобедимый,  
Как он, великий океан [т. I, стр. 318].

Лермонтов, конечно, не раз слышал рассказы людей, испытавших славное время на Руси и в конце 1820-х годов уже чувствовавших гнет реакции.

В Москве, куда переехала Арсеньева на постоянное жительство, он мог их видеть довольно, и что он чуток был к жалобам их, что социальные вопросы и мысли о положении дел начинали его заинтересовывать, мы видим из стихотворения его, написанного еще в 1829 году в пансионе, под заглавием «Жалобы турка», где видно сетование на положение дел в родной стране,

Где являются порой

---

<sup>32</sup> Еще в первой юношеской тетради, писанной в пансионе, мы встречаем стихотворение «Наполеон», в коем боролись симпатии к Наполеону с чувством неприязненности к нему, коими дышали рассказы людей, помнивших годину бедствий. Сравни статью мою в «Русской Мысли», 1881 г., кн. XI и соч. Лерм., т. I, стр. 362. Затем о Наполеоне т. I, стр. 93, 94, 180, 236, 294, 318.

Умы холодные и твердые, как камень,  
Но мощь их давится безвременной тоской,  
И рано гаснет в них добра спокойной пламень.  
Там рано жизнь тяжка бывает для людей,  
Там за успехами несется укоризна,  
Там стонет человек от рабства и цепей...  
Друг, этот край – моя отчизна! [т. I, стр. 41]

Не знаю, чувствовал ли так пятнадцатилетний мальчик, но что он мог серьезно задумываться над тем, что слышал вокруг себя, это не подлежит сомнению, хотя бы приходилось судить по одному этому стихотворению.

Но я забежал вперед. Возвращаясь к Капэ и воспоминаниям о войнах 1812 и 1815 годов, имевшим влияние на молодого поэта. Замечательно, что жители Тархан из многих наставников Михаила Юрьевича сохранили только воспоминание о Капэ и о немке Ремер, что они знают, как «молодой барин» любил учителя-француза, и что об этой любви Лермонтова к нему и о влиянии на него старого наполеоновского офицера говорил и наставник Лермонтова Зиновьев.

Капэ, однако, недолго после переселения в Москву оставался руководителем Мишеля – он простудился и умер от чахотки. Мальчик не скоро утешился. Теперь был взят в дом весьма рекомендованный, давно проживавший в России, еще со времени Великой французской революции эмигрант Жандро, сменивший недолго пробывшего при Лермонтове ученого еврея Леви. Жандро сумел понравиться избалованному своему питомцу, а особенно бабушке и московским родственницам, которых он пленял безукоризненностью манер и любезностью обращения, отзывавшихся старой школой галантного французского двора. Этот изящный, в свое время избалованный русскими дамами француз пробыл при Лермонтове, кажется, около двух лет и, желая завоевать симпатию Миши, стал мало-помалу открывать ему «науку жизни». Полагаю, что мы не ошибемся, если скажем, что Лермонтов в наставнике Саши в поэме «Сашка» [строфа XXV и далее] описывает своего собственного гувернера Жандро под видом парижского «Адониса», сына погибшего маркиза, пришедшего в Россию «поощрять науки». Юному впечатлительному питомцу нравился его рассказ:

Про сборища народные, про шумный  
Напор страстей и про последний час  
Венчанного страдальца. Над безумной  
Парижскую толпою много раз  
Носилось его воображение... и т. д. [т. II, стр. 203]

Из рассказов этих молодой Лермонтов почерпнул нелюбовь свою к парижской черни и особенную симпатию к неповинным жертвам, из среды которых особенно выдвигался дорогой ему образ поэта Андре Шенье. Но вместе с тем этот же наставник внушал молодежи довольно легкомысленные принципы жизни, и это-то, кажется, выйдя наружу, побудило Арсеньеву ему отказать, а в дом был принят семейный гувернер, англичанин Виндсон. Им очень дорожили, платили большое для того времени жалованье – 3000 р. – и поместили с семьей (жена его была русская) в особом флигеле. Однако же и к нему Мишель не привязался, хотя от него приобрел знание английского языка и впервые в оригинале познакомился с Байроном и Шекспиром.

Между тем шло приготовление к экзамену для поступления в Благородный Университетский пансион. Занятиями Мишеля руководил Александр Зиновьевич Зиновьев, занимавший в пансионе должность надзирателя и учителя русского и латинского языков. Он пользовался репутацией отличного педагога, и родители особенно охотно доверяли детей своих его руководству. В Благородном пансионе считалось полезным, чтобы каждый ученик отдавался

на попечение одного из наставников. Выбор предоставлялся самим родителям. Родственники приехавшей в Москву Арсеньевой Мещериновой рекомендовали Зиновьева, и таким образом Лермонтов стал, по принятому выражению, «клиентом» Зиновьева и оставался им во всю бытность свою в пансионе<sup>33</sup>.

Пансион помещался тогда на Тверской; он состоял из шести классов, в которых обучалось до 300 воспитанников. Лермонтов поступил в него в 1828 году, но расстаться с своим любимцем бабушка не захотела, и потому решили, чтобы Мишель был зачислен полупансионером, следовательно, каждый вечер возвращался бы домой.

Справедливое замечание одного из лучших наших публицистов, что «в истории русского образования Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль», само собой касается и Благородного Университетского пансиона, существование которого неразрывно связано с Московским университетом. Пансион этот с самого своего основания наделял Россию людьми, послужившими ей и приобретшими право на внимание потомства. Так, там воспитывались: Д. И. Фонвизин, В. А. Жуковский, Д. В. Дашков, А. И. Тургенев, В. Ф. Одоевский, А. С. Грибоедов, И. Н. Инзов (кишиневский покровитель Пушкина), братья Николай и Дмитрий Алексеевичи Милютины и многие другие.

Можно смело сказать, что добрая часть наших деятелей первой половины XIX века вышла из стен пансиона<sup>34</sup>.

Когда в 1828 году Лермонтов поступил в университетский пансион, старые его традиции еще не совершенно исчезли. Между учащимися и учителями отношения были добрые. Холодный формализм не разделял их. Интерес к литературным занятиям не ослаб. Воспитанники собирались на общее чтение, и издавался рукописный журнал, в котором многие из них принимали посильное участие. Преподавание было живое, имелось в виду изучение славных писателей древних и новых народов, а не грамматического балласта, под которым в наши дни разумеют изучение языков<sup>35</sup>.

Лермонтов принимал живое участие в литературных трудах товарищей и являлся в качестве сотрудника школьного рукописного журнала «Утренняя заря». Здесь поместил Лермонтов свою поэму «Индианка», которая была им сожжена. Содержание ее мы не знаем<sup>36</sup>.

Им там же помещались стихотворения, на которые было обращено внимание учителей. Лермонтов показывал свои переводы из Шиллера, и Зиновьев полагает даже, что перевод баллады Шиллера «Перчатка» [т. I, стр. 5] был его первым стихотворным опытом, что, однако, неверно. Любимому им учителю рисования Александру Степановичу Солонецкому Лермонтов передал тщательно переписанную тетрадку своих стихотворений<sup>37</sup>.

Подавали свои стихотворные опыты учителям и другие воспитанники. Дурново подал пьесу «Русская мелодия» – подал ее за свою, хотя она и была писана Лермонтовым, вероятно, шутки ради, потому что Лермонтов, говоря об этом, отзываясь о товарище задушевно<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> Сведения о времени пребывания Лермонтова в Московском благородном пансионе и учителях его почерпнул я главным образом из рассказов г. Зиновьева, записанных мною со слов его в сентябре 1880 г. в Москве.

<sup>34</sup> Исторический очерк пансиона помещен мною в Русской Мысли, ноябрь 1881 г.

<sup>35</sup> Когда я спросил у А. З. Зиновьева, знал ли Лермонтов классические языки, он отвечал мне: «Лермонтов знал порядочно латинский язык, не хуже других, а пансионеры знали классические языки очень порядочно. Происходило это от того, что у нас изучали не язык, а авторов. Языку можно научиться в полгода настолько, чтобы читать на нем, а хорошо познакомься с авторами, узнаешь хорошо и язык. Если же все напирать на грамматику, то и будешь изучать ее, а язык-то все же не узнаешь, не зная и не любя авторов».

<sup>36</sup> Материалы Хохрякова. См. ниже прим. на стр. 52.

<sup>37</sup> Находится ныне у Н. С. Тихонравова, а точный список в Лермонтовском музее.

<sup>38</sup> См. т. I, стр. 36. Что Лермонтов показывал свои сочинения наставникам, видно из некоторых пометок. Так, на полях тетради, на которой написаны «Черкесы», против VI строфы замечено: «Зиновьев нашел, что эти стихи хороши», и далее, немного ниже: «тоже»; на полях другого стихотворения [«Два брата», см. т. III, стр. 173] заметка нелермонтовским почерком: «contre la morale».



Инспектор пансиона Михаил Григорьевич Павлов, профессор физики при Московском университете, отличавшийся живостью преподавания и вносящий в область естествознания философию Шеллинга, поощрял литературные вкусы молодежи и задумал даже собрать лучшие из опытов их в особое издание. Этот проект остался невыполненным, но Лермонтов в письме в Апалиху к тетке своей Марье Акимовне [т. V, стр. 375] с истинно детской восторженностью упоминает об этом факте.

Этот же инспектор интересовался успехами Лермонтова в рисовании и хранил у себя его удачные рисунки. «Умственное воспитание Лермонтова было по преимуществу литературное», – замечает А. Н. Пыпин в биографическом очерке поэта [изд. 1873 г., т. I, с. XXII]. Я полагаю, что относительно воспитания поэта можно сказать: любовь ко всем искусствам развивалась в нем, и все искусства были близки душе его. Он не только отлично рисовал, но хорошо играл на скрипке и на фортепиано. А. З. Зиновьев, учивший старших воспитанников декламации, особенно обращал внимание на дикцию любимого им ученика. «Как теперь смотрю на милого моего питомца, – рассказывает этот наставник, – отличившегося на пансионском акте, кажется, 1829 года. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского «К морю» и заслужил громкие рукоплескания. Тут же Лермонтов удачно исполнил на скрипке пьесу и вообще на этом экзамене обратил на себя внимание, получив первый приз в особенности за сочинение на русском языке»<sup>39</sup>.

Лермонтов учился хорошо. Из упомянутого письма к тетке мы видим, что он считался вторым учеником. Поступил Лермонтов, кажется, в 4-й или 5-й класс. Всех классов было шесть, и высший подразделялся на младшее и старшее отделения. Директором был Петр Александрович Курбатов, а кроме названных учителей в пансионе преподавал еще Д. Н. Дубенский (известный своими примечаниями на «Слово о полку Игореве»), латинскому языку – адъюнкт университета Кубарев и математик Кацауров. В старшем же классе преподавали профессора университета Алексей Федорович Мерзляков и Дмитрий Матвеевич Перевозчиков.

Мерзляков имел большое влияние на слушателей. Он отличался живой беседой при критических разборах русских писателей и недурно, с увлечением, читал стихи и прозу. Приземистый, широкоплечий, со свежим, открытым лицом, с доброй улыбкой, с приглаженными в кружок волосами, с пробором вдоль головы, горячий душой и кроткий сердцем, Алексей Федорович возбуждал любовь учеников своих. Его любили послушать в классе, с университетской кафедры, в литературном собрании пансиона. Но чтобы вполне оценить его красноречие и добродушие, простоту обращения и братскую любовь к ближнему, надо было встречаться с ним в дружеских беседах, за круговой чашей или в небольшом обществе коротко знакомых людей; тогда разговор его был жив и свободен. Мерзляков тем более должен был повлиять на Лермонтова, что давал ему частные уроки и был вхож в дом Арсеньевой. Конечно, мы не можем с достоверностью судить, насколько сильно было это влияние. Сам Лермонтов не высказывается об этом, но явствовать может это из возгласа бабушки, когда позднее над внуком ее стряслась беда по поводу стихотворения его на смерть Пушкина: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе! Вот до чего он довел его»<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> «Биограф. очерк Пыпина», изд. 1873 г., стр. XIX. Догадка Пыпина, что эта пьеса была не «К морю», а элегия Жуковского «Море» [изд. 1878 г., т. II, стр. 388], оправдалась. Мне подтвердил ее Зиновьев, продекламировав первый стих: «Безмолвное море, лазурное море». О счастливом настроении в день публичного экзамена говорила и Е. А. Хвостова [«Записки», стр. 97], утверждая, впрочем, что это было в 1830 г., по возвращении из Средникова, следовательно, в конце августа; но это сомнительно, потому что Лермонтов вышел из университетского пансиона уже в апреле 1830 года.

<sup>40</sup> См. биограф. Мерзлякова в «Биогр. Словаре» моск. профессоров и в книге Сушкова «Материал к истории московского благородного пансиона», стр. 88, 89 и 94. М. А. Дмитриев рассказывал о происхождении известной песни «Среди долины ровныя». В приятельском кругу Мерзляков, пригорюнившись, заговорил о своем одиночестве. Внезапно схватив мел на открытом ломберном столе, он написал начало названной песни. Ему положили перо и бумагу. Он переписал написанное и окончил тут же всю пьесу. Большинство своих произведений писал он в «Ждагах», имении Веняминовых-Зерновых. Мерзляков скончался 26 июля 1830 г., на даче в Сокольниках, в скромном небольшом домике. День был тихий, прекрасный, когда из небольшой церкви понесли поэта среди ясных сельских видов на Ваганьковское кладбище. Между присутствовавшими

Об отношениях Лермонтова к пансионским товарищам мы знаем очень мало, но в одной его тетради, перебеленной в 1829 году, мы встречаемся со стихотворными посланиями к некоторым из них, проливающими свет на эти отношения. В пансионе, в кругу товарищеском, началась поэтическая деятельность Лермонтова – и по свидетельству наставника его Зиновьева, и по собственному признанию поэта [т. I, стр. 75]. Но эта поэтическая деятельность подготовлялась в душе мальчика еще раньше. Интересно заглянуть в самый процесс первого развития ее.

---

находился ученик его, известный после профессор университета Кудрявцев. По поводу возгласа бабушки о Мерзлякове см. заметки Лонгинова. Р. Стар., 1873 г., т. VII, стр. 384. Влияние на Лермонтова Мерзлякова признает и редактор «Библиографических записок» [1861 г., стр. 488, примечание], говоря о стихотворениях Лермонтова «Цевница» и «Пан» [соч., т. I, стр. 2 и 41]. Мерзляков, впрочем, был не без влияния и на других замечательных людей: так сохранил о нем благодарную память и Чаадаев [Русс. Вест., 1862 г., т. 42, стр. 143].

### Глава III

*Начало поэтической деятельности. – Юношеские тетради Лермонтова. – Подражания Пушкину: «Черкесы», «Кавказский пленник». – Послание к школьным друзьям, «Корсар» и «Преступник». – Влияние Шиллера и Гете. – Начало драматических опытов. – Сюжеты драм. – Влечение к Испании. – Драма «Испанцы»*

Пребывание на Кавказе и первая любовь открыли душу ребенка для мира поэзии. До нас дошла голубого цвета бархатная тетрадь, принадлежавшая Лермонтову-ребенку, Она была подарена ему дружественно расположенным лицом на двенадцатом его году<sup>41</sup>. И в эту тетрадь стал мальчик вписывать те стихи, которые ему особенно нравились. Явление это весьма обыкновенное. Вряд ли есть какой-либо ребенок, одаренный самой обыденной фантазией, который не заводил бы себе альбомов для записывания нравящихся ему стихов. Но по тетрадям Лермонтова мы вполне можем проследить, как от переписки стихов он мало-помалу переходит к переработке или переложению произведений известных поэтов, затем уже к подражанию и наконец к оригинальным произведениям. Замечу тут, кстати, что, строго говоря, подражания в Лермонтове не было. Напротив того, он переиначивал произведения других писателей, придавая им характер, присущий его индивидуальности. Подражание ограничивалось разве тем, что молодой поэт заимствовал сюжет или тот или другой стих, но и сюжету он давал свое освещение и иной характер действующим лицам и событиям. Стихи же, которые он заимствовал у другого поэта, получали у него своеобразный вид и напоминали оригинал разве одной лишь чисто внешней своей формой, но отнюдь не значением.

Платя дань обычаю времени, бабушка старалась сделать для внука французский язык родным. Тетради носят на себе следы этих французских упражнений. Даже переписка Лермонтова-юноши с близкими людьми велась на французском языке. Но поразительно верное чутье, которым всегда отличался поэт наш, рано подсказало ему, что не иноземная, а русская речь должна служить его гению. С Лермонтовым не повторялось того, что видим мы в Пушкине, – он не на французском языке пишет свои первые опыты.

Пятнадцати лет уверен он, что «в народных русских сказках более поэзии, чем во всей французской литературе». Напрасно окружающие стараются убедить двенадцатилетнего мальчика в красотах французской музыки: он как будто скрепя сердце поддается общему тогда восхищению этими поэтами, но уже тринадцати лет, кажется, навсегда отворачивается от них. По крайней мере, в упомянутой нами голубой бархатной тетрадке мальчика Лермонтова мы находим пометку, которой он вдруг прерывает неоконченную выписку из сочинения французского автора, говоря: «Я не окончил, потому что окончить не было сил». А затем, как бы в подтверждение нашей догадки, что ему чужеземная речь была не по душе, он переходит к переписке русских стихотворений, помечая день этот 6 ноября 1827 года. Дальше мы будем

---

<sup>41</sup> Тетрадь эта хранится в Императорской Публичной библиотеке, довольно толстая, in 4° в бархатном голубом переплете с золотым обрезом; на лицевой стороне она обшита золотым шнурком. Из этого шнура образованы переплетенные французские буквы: М. J. L. На обратной же стороне тетради вышит 1826 г. Первые листы вырваны; затем мы встречаем ряд выписок из французских писателей. Тут стояло: «Héro et Leandre par La Harpe. Echo et Narcisse, Orphe et Euridice». Под стихами: «La mort ferme ses yeux, les nymphes, ses compagnes. De leurs cris douloureux complirent les montagnes» и т. д. Лермонтов приписал: «je n'ai point fini, parceque je n'ai pas pu». За этим следует новый заглавный лист: Разные сочинения, принадлежат М. Л. 1827 г. 6 ноября. Тут встречаем мы прежде всего переписанными: «Бахчисарайский фонтан» А. Пушкина и «Шильонский узник», пер. Жуковского. Далее все белые листы. Дудышкин [учен. тетради Лермонтова «Отечест. Записк.», 1859 г., № 11, стр. 245] только поверхностно ознакомился с этой тетрадью, – он, кажется, «Шильонского узника» и «Бахчисарайский фонтан», дословно списанные Лермонтовым, принял за переложение [это заметил уже г. Ефремов, «Соч. Лермонтова», т. II, стр. 513], а поэму «Черкесы» он относит без всякого основания к 1826 году.

иметь случай указать на задушевную мысль уже зревшего таланта – избавить нашу литературу от наплыва произведений иноземных муз.

Первая выписка поэтических произведений на русском языке, которую мы находим в тетради Лермонтова, – это «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкина, переписанный им целиком, и «Шильонский узник» В. А. Жуковского. Самостоятельные же поэтические опыты, по собственному признанию поэта, были им сделаны в пансионе.

Приступая к рассмотрению этих опытов, нельзя не поговорить о важности биографического материала, представляемого юношескими тетрадями поэта. Они нагляднее всякой биографии рисуют поэта и постепенное развитие его таланта. Из них видно, как рано полюбил Лермонтов поэзию и как постоянно оставался верен ей. Дома, в пансионе, летом в деревне – везде вносил он в эти тетради свои мысли, чувства и свои – сначала детские, потом юношеские – стихотворения. Из этих же тетрадей видно, кто больше всего имел влияния на Лермонтова, что он читал, чего хотел, как он по несколько раз обращался к одной и той же мысли. Эти тетради составляют счастливое приобретение для биографа, но кроме того и редкость в литературном мире. У какого писателя так далеко могут восходить воспоминания? У кого из них уцелел такой материал, если не всегда важный в литературном, то не оцененный в биографическом отношении? Здесь нет той невольной хитрости, тех невольных уловок мыслей, которые всегда заметны в автобиографиях, написанных в позднюю пору жизни, нет желания отыскивать объяснения позднейших явлений, хитрить с самим собой, все подводить под одну теорию – одним словом, нет умысла, хорошего или дурного, все равно. Здесь день идет за днем, перед вами растет человек и поэт, и вы, помимо всяких чужих свидетельств, которым не всегда можно верить, видите, что он любил, как он любил, что имело на него сильное влияние, под влиянием каких писателей и направлений он находился. Вы видите постепенное влияние на него французских писателей, потом Пушкина, Жуковского, Шиллера, Гете, Байрона и Шекспира.

В тетрадях этих литературная работа часто прерывается ученическими упражнениями на немецком, французском и английском языках, а в школьных тетрадях среди ученических занятий встречаем мы стихотворные наброски<sup>42</sup>.

От переписки стихов Лермонтов перешел к их переделке. Понятно, что любимцем его стал Пушкин, слава которого тогда уже гремела. Но не первые произведения «певца Руслана и Людмилы», как всюду тогда величали Пушкина, увлекали мальчика. Своеобразные типы байроновских героев, отразившихся на «Бахчисарайском фонтане», «Кавказском пленнике» и «Цыганах», поражают его воображение. Образцы эти, естественно, вязались с омраченной, чуткой и не чуждой страданиям душой мальчика. Знаменательно уже, что он тщательно переписывает именно «Бахчисарайский фонтан» и «Шильонский узник». Хотя в переводе Жуковского, уже по свойству его таланта, выдвинулась более романтическая сторона и меньше заметно специального духа, свойственного байроновским героям, все же он сказался и вместе с «Братьями-разбойниками» Пушкина (напечатанными в 1825 году в «Полярной звезде») вызвал со стороны Лермонтова две поэмы – «Корсар» и «Преступник»<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Так, в VII тетради мы среди стихотворений встречаем целую страницу французского упражнения «Jorik à Elis» с подчеркнутыми грамматическими ошибками и через несколько листов тоже прозаические упражнения в переводах из Байрона, «Гяур», «Бенно» и пр. Находящиеся в Публичной библиотеке черновые ученические тетради Лермонтова хранят следы стихотворных набросков. О тетрадях поэта, относящихся ко времени пребывания его в школе гвардейских юнкеров, мы будем еще говорить. В Публичной библиотеке находится тоже черновая тетрадь эпохи нахождения Лермонтова в университетском пансионе. На заглавном листе читаем: «Общая тетрадь. Принадлежит М. Лермонтову. 1829 г.». На оборотной стороне первого листа: *incredibles, superflut*. Затем: Владельца книги сей Коль хочет кто узнать, Вот имя здесь на ней Изволь внизу читать. М. Лермонтов. О тетрадях поэта сравни статью мою в «Русской Мысли» за 1881 г., кн. XII, прим. 37 и 38. В ссылках и указаниях много опечаток, но они исправлены в экземпляре, наход. в Лермонтовском музее. – Тетради, хранившиеся у А. А. Краевского, подарены им в музей.

<sup>43</sup> Шан-Гирей в статье, напечатанной в августовской книге «Русского Обозрения» за 1890 год, рассказывает, что первая поэма, написанная Лермонтовым, называлась «Индианка», позднее сожженная им. Но Шан-Гирей запомнил: «Индианка»

Впрочем, как на первую попытку подражать Пушкину можно смотреть на поэму «Черкесы», писанную, как кажется, в 1828 году. Писал эту поэму Михаил Юрьевич, когда ему не было еще 14 лет, – писал в городе Чембары, за дубом, с которым связывалось какое-то дорогое для него воспоминание. Рукой поэта на самом заглавном листе переписанной им начисто поэмы помечено: «В Чембаре, за дубом». Мальчика охватили образы и звуки пушкинского «Кавказского пленника». И неудивительно, что именно это произведение славного нашего поэта увлекало мечтательного Мишеля. Эта мечтательность и так давно была возбуждена картинами Кавказа. Ему невольно должно было казаться, что Пушкин вылил словами то, что выразить самому еще было не по силам. Живые впечатления Кавказа, вынесенные мальчиком так недавно, сливались с очарованием пушкинского стиха. Сначала он зачитывается этим произведением, но работающие в нем мысли и чувства настолько самостоятельны, что он не может без дальнейшего принять и удовлетвориться продуктом чужого творчества. И вот он под руководством поэмы Пушкина пробует создать свое или переделать эту дорогую поэму так, чтобы она более соответствовала его собственному мировоззрению и индивидуальности его. Поэтому он, не стесняясь, берет у Пушкина, что ему кажется подходящим, а что не подходит, он видоизменяет по-своему.

Не удовлетворенный первой попыткой, Лермонтов тотчас берется за переделку сюжета и прямо называет его одним именем с пушкинской поэмой – «Кавказский пленник», так же, как у Пушкина, разбивая его на две части. Надо, однако, сознаться, что если вся концепция взята Лермонтовым у Пушкина, то в картинах кавказской природы мы видим будущего великого художника. Многие стихи «Черкесов» мы встречаем в стихах «Кавказского пленника»; и те и другие являются собственно только пересказом пушкинских<sup>44</sup>.

Конец пушкинской поэмы, очевидно, казался юному поэту недостаточно трагичным, то есть ужасным – два понятия, всегда смешиваемые в юные годы. И вот Лермонтов старается усилить впечатление тем, что освобожденный любящей его черкешенкой пленник в глазах ее сражен пулей, посланной ему притаившимся отцом ее. При этом сама смерть пленника описывается почти теми же словами, как смерть Ленского в «Евгении Онегине».

Но роковой ударил час...  
Раздался выстрел – и как раз  
Мой пленник падает... Не муку,  
Но смерть изображает взор,  
Кладет на сердце тихо руку... и т. д.

---

была написана, но, кажется, не закончена, после – по прочтении романа Шатобриана «Аттала», который он думал драматизировать [т. IV, стр. 1], а потом написал поэму.

<sup>44</sup> Выпишем для примера описание битв черкесов с казаками. Из «Кавказского пленника» Пушкина: ...Черкес на корни вековые, На ветви вешает кругом Свои доспехи боевые: Щит, бурку, панцирь и шолом, Колчан и лук, – и в быстры волны За ним бросается потоп. Неумолимый и безмолвный. Глухая ночь. Река ревет, Могучий ток его несет Вдоль берегов уединенных. Где на курганах возвышенных, Склонясь на копья, казаки Глядят на темный бег реки. И мимо их, во мгле чернея, Плывет оружие злодея... О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежни битвы? И родину?.. Коварный сон! Простите, вольные станицы, И дом отцов, и тихий Дон, Война и красные девицы! К брегам причалил тайный враг; Стрела выходит из колчана, Взылась и – падает казак С окровавленного кургана. Из «Черкесов» Лермонтова [т. III, стр. 165]: Одето небо черной мглой, В тумане месяц чуть блестит, Лишь на сухих скалах травую Полночный ветер шевелит. На холмах маяки блистают: Там стражи русские стоят, Их копья острые блестят, Друг друга громко окликают: «Не спи, казак, во тьме ночной: Чеченцы ходят за рекой!» (Буквально слова из черкесской песни Пушкина). Но вот они стрелу пускают... Взылась – и падает казак С окровавленного кургана; В очах его смертельный мрак: Ему не зреть родного Дона, Ни милых сердцу, ни семью, — Он жизнь окончил здесь свою... Из «Кавказского пленника» Лермонтова [часть III, стр. 142]: ...Черкес чрез Терек Плывет на верном тулуке. Бушуют волны на реке, В тумане виден дальний берег. На пне пред ним висят кругом Его оружия стальные: Колчан, лук, стрелы боевые И шашка острая, ремнем Привязанна, звенит на нем. Как точка в волнах он мелькает, То виден вдруг, то исчезает... Вот он причалил к берегам. Беда беспечным казакам: Не зреть уж им родного Дона, Не слышать колоколов звона. Уже чеченец под горой, Железная кольчуга блещет, Уж лук звенит, стрела трепещет, Удар несется роковой...



Отец попирает убитого ногой, и, не вынеся этого горя, черкешенка, как и у Пушкина, потопляет себя. Трагизм всего Лермонтов старается увеличить указанием на то, что старый черкес, застреливший русского, в то же время стал убийцей своей дочери.

Но кто убийца их жестокий?..  
Он был с седой бородой;  
Не видя девы черноокой,  
Сокрылся он в глуши лесной.  
Увы, тот был отец несчастной!..  
Поутру труп оледенелый  
Нашли на пенистых берегах:  
Он хладен был, окостенелый.  
Казалось, на ее устах  
Остался голос прежней муки;  
Казалось, жалостные звуки  
Еще не смолкли на губах...  
Узнали все, но поздно было...  
Отец, убийца ты ее [ея],  
Где упование твое?  
Терзайся век, живи уныло!  
Ее уж нет и за тобой  
Повсюду призрак роковой... [т. III, стр. 151]

Весьма замечательно, что уже тут, в первом произведении поэта, высказывается самостоятельная мысль (об отце у Пушкина и намек не), которую потом встретим мы в целом ряде юношеских драм. Это – деспотизм отца, доводящий детей до трагического самоубийства.

В поэму введены и друзья пленника, чего нет у Пушкина. Внося в поэму свое, индивидуальное, Лермонтов дал в ней место выражению занимавших его чувств. Душа его в то время уже сильно жаждала дружбы. В набело переписанной тетради 1829 года, содержащей пьесы 1828 года, мы встречаем множество намеков, указывающих на то, что душа мальчика постоянно была занята мыслями о дружбе. Многие стихи посвящены лицам, очевидно, из дружеского, товарищеского круга:

Я рожден с душою пылкой,  
Я люблю с друзьями быть, —

говорит он. Всю тетрадь эту Лермонтов посвящает тогдашнему близкому другу своему, некоему Сабурову, не раз, впрочем, оскорблявшему чуткую душу мальчика.

...Оттенок чувств тебе несу я в дар,  
Хоть ты презрел священной дружбы жар.

Он жалуется, что «ложный друг увлек Сабурова в свои сети», жалуется на его измену, восклицает: «Как он не понимал моего пылкого сердца!» – и зовет его к себе

Под сень черемух и акаций,  
Чтоб разделить святой досуг.

Наконец, последовал и совершенный, должно быть, разрыв. «Наша дружба, – говорит Лермонтов в примечании к последнему стихотворению, посвященному тому же Сабурову, – наша дружба смешана со столькими разрывами и сплетнями, что воспоминания о ней совсем невеселы. Этот человек имеет женский характер; я сам не знаю, отчего дорожил им» [т. I, стр. 38].

Впечатлительная и зыбкая натура юноши часто приводила его к тяжкому разочарованию в друзьях. Тогда он старался найти выход этому чувству в эпиграммах на друзей или дружбу [т. I, стр. 39].

Хороши были отношения Лермонтова к другому товарищу – Дурново, о котором он отзывался еще и немного позднее как о друге, которого он все еще уважает за его открытую и добрую душу. «Он мой первый и последний друг», – говорит юный поэт [т. I, стр. 27, 36, 47].

Это примечание к стихотворению сделано рукой поэта по прошествии известного времени. Должно полагать, когда он вновь перечитывал и передумывал писанное прежде. Постоянные обращения к друзьям и намеки на дружбу, конечно, свойственны самому возрасту, в который вступал мальчик, но кроме того и самая жизнь в семье стала все более тяготить его. Несчастное положение между любимым и принижаемым отцом, с одной стороны, и бабушкой и родными – с другой, обострялось все более. Гордого по натуре ребенка все сильнее раздражало пренебрежение окружающих к бедности и незнатности рода отца, а следовательно, и его самого. Мальчик должен был искать привета и дружбы вне домашней обстановки, там, где ничто не оскорбляло бы его. И вот

В уме своем он создал мир иной  
И образов иных существованье [т. I, стр. 36].

Этим состоянием, может быть, объясняется, почему в своем «Кавказском пленнике» мальчик-поэт рисует друзей пленника, играющих в его новом положении не последнюю роль и утешающих его, разделяющих с ним скорбь рабского положения на чужбине. «В слезах склонясь к младой главе», стараются эти товарищи несчастья привести в чувство лежащего без памяти. На груди их он плачет и рыдает по родине. Он

Счастлив еще, – его мученья  
Друзья готовы разделять  
И вместе плакать и страдать... [т. III, стр. 139]

«Кавказского пленника» Лермонтов писал в Москве. По крайней мере, тетрадь, в которую вписан он, помечена: «Москва, 1828 год».

Мальчику, очевидно, очень хотелось придать своему опыту характер почтенного печатного издания. Тетрадь имеет вид небольшой книжки, переплетенной в зеленый сафьян с золотым тиснением, в 8-ю долю листа, с виньетками и картинками и с заглавным листом, писанным как бы печатными буквами.

В одной тетради с «Кавказским пленником» находится и еще поэма, тоже относящаяся к 1828 году, – это «Корсар». Она писана под влиянием «Шильонского узника» Жуковского и начинается почти теми же словами:

Друзья, взгляните на меня!  
Я бледен, худ, потухла радость! и т. д.

Повлияли на нее, может быть, и «Братья-разбойники» Пушкина, которые, впрочем, и сами по себе напоминают «Шильонского узника», что чувствовал и сам Пушкин и что высказал

он в письме к князю Вяземскому [«Русский архив» 1874 г., номер 1]. Во всяком случае, влияние «Братьев-разбойников» видно в стихотворении «Преступник». Но в этой поэме можно отыскать следы и еще одного влияния – это влияние Шиллера и именно драмы его «Дон Карлос». Героя поэмы полюбила мачеха. Как и в «Доне Карлосе», старик отец женится на молодой женщине. Молодая женщина и летами, и характером ближе подходит сыну, чем отцу, и развивается роковая страсть, вызывающая вражду между отцом и сыном. У Лермонтова отношения между мачехой и пасынком имеют более жгучий и страстный характер, у Шиллера же любовь их идеальнее и более платоническая. Надо, впрочем, сознаться, что в этой поэме заметно, как мальчик-поэт начинает освобождаться от непосредственного влияния. Мы видим больше самостоятельности и не встречаем перефразировки чужого стиха.

Влияние на поэму Шиллера тем вероятнее, что в это время Лермонтов действительно начинает знакомиться с ним и вчитываться в него, что видно из попыток перевода некоторых пьес немецкого поэта, которые встречаем в тетрадах 1828 и 1829 годов [ср. т. I, стр. 3–8]. В Шиллере его поразила мысль, которую он и передал двистишем:

Счастлив ребенок! и в люльке просторно ему, но дай время  
Сделаться мужем – и тесен покажется мир.

Ясно, что раз под влиянием пушкинских произведений открылся в душе мальчика родник поэзии, давно в нем дремавший и насыщенный природой Кавказа, он уже бежал неудержимо, обращаясь сначала в ручей, потом развиваясь в бурливый поток и в реку, то шумно бегущую меж скал и камней, то тихо катящуюся меж тростников и лугов по цветущей равнине.

Выследить рост этого ручья мы можем: видим почти каждый посторонний приток, воспринятый им, и надо сказать, что рост этот совершался с изумительной быстротой. Лермонтов воспринимал в себя все, что подходило к его индивидуальности, энергически отбрасывая чуждое ему.

Одновременно с Шиллером Лермонтов познакомился, конечно, и с Гете, но олимпийское спокойствие гетевской музыки не могло нравиться юноше – он понял ее уже гораздо позднее, когда талант и дух его стали более зрелыми. Теперь он сделал было попытку даже перевести кое-что из Гете, но не кончил перевода [ср. т. I, стр. 9].

Знакомясь с Шиллером, Лермонтов начинает пристращаться и к драматической форме. Прежде всего в тетради 1829 года встречаем мы перевод сцены трех ведьм из «Макбета» Шиллера. Известно, что Шиллер не просто перевел шекспировского Макбета, а переделал его под влиянием общераспространенного в то время мнения, что произведения Шекспира, при всей своей гениальности, уродливы и для представления в театре должны быть переделываемы. Лермонтов рано интересуется Шекспиром, переделки его ему не нравятся [см. письма к тетке, т. V, стр. 377], и он оставляет Макбета в переделке Шиллера непереверженным.

Первую попытку драматизировать сюжет, хоть бы и чужой, представляют «Цыганы» Пушкина. Он хотел из этой поэмы составить либретто для оперы и взялся за него еще в 1829 году, но и эта попытка осталась неоконченной [соч. т. I, стр. 10]. Лермонтов частью сохранял дословный пушкинский текст, частью же, где считал это нужным, вставлял свои стихи, или писал монолог прозой, или оставлял пробел для того, чтобы «выписать из *Московского Вестника* подходящую песню для одной из цыганок». Юный писатель, как видно, не церемонился и откровенно брал то, что считал подходящим [т. IV, стр. 2].

Мало-помалу драма так увлекает Лермонтова, что все прочитанное слагается в фантазии его в драматическую форму. Тут мы встречаемся с обрывками мыслей и воспоминаний, накиданных им в черновых его тетрадах. Прочитывает ли Михаил Юрьевич популярный тогда роман Шатобриана «Аттала»; он в тетрадах пишет заметку: «Сюжет трагедии. – В Америке. – Дикие, угнетенные испанцами. – Из романа французского Аттала». Читает ли он русскую исто-

рию, сейчас слагаются у него образы и драматизируется сюжет: «Мстислав черный». В герое Мстиславе Лермонтов старается изобразить свои чувства, свою любовь, патриотизм.

В конце израненный Мстислав умирает под деревом, прося одного из бегущих мимо него поселян, ищущих в лесу убежища от татар, рассказать его дела какому-либо певцу, «чтобы этой песнью возбудить жар любви к родине в душе потомков».

Очевидно, Лермонтов в себе самом видел этого певца. Сюжет этот, оставленный поэтом, доказывает, однако же, как рано затрагивали его мотивы из народного прошлого и что знаменитая его «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» – не единственная попытка в этом роде. Между стихотворениями 1829 года встречаем мы тоже отрывок поэмы «Олег» [т. I, стр. 17].

Все, с чем знакомился Лермонтов, приводит его к мысли о драме. Читая жизнь Мария, написанную Плутархом, он задумывает трагедию «Марий» [т. IV, стр. 248], оканчивающуюся смертью Мария и самоубийством его сына, и затем, в той же тетради, говорит о желании написать трагедию «Нерон», не помечая, впрочем, плана ее. Эти обе трагедии задуманы были им в 1831 году и тоже не выполнены. В тетрадях же 1830 года после сюжета «Мстислав» встречается целый ряд набросков и замыслов один другого причудливее, а главное – кровавее. Как и раньше в своих переделках произведений знаменитых поэтов, в своем «Кавказском пленнике» и «Корсаре», молодой Лермонтов думает еще, что сила трагедии заключается в ужасном, в убийстве и крови.

Едва ли не первым сюжетом трагедии записан сюжет, в котором отец с дочерью, злейшие разбойники, ожидают приезда сына к себе в деревню. Недалеко от этой отцовской деревни спешащий к отцу и сестре молодой человек на постоялом дворе встречается со своей возлюбленной и матерью ее. Ночью на них нападают разбойники. Офицер храбро защищается и одному отрубил даже руку. Поутру с трупом своей возлюбленной он прибыл в деревню отца, где по недостающей руке больного он узнает, кто были ночные разбойники. Подоспевшая, еще по прежним подозрениям, полиция арестует отца, а сын, не вынеся горя и позора, застреливается. Тут вбегает старый служитель сына, хочет его увидеть и видит мертвого [т. IV, стр. 1].

Таких набросков и планов в двух-трех словах или кратких пометках много раскидано по тетрадям. Начинаящий драматург не знает, за что взяться. Выполнение задуманных сюжетов не удавалось, но, может быть, оно требовало изучения, которое было не под силу; требовало знания нравов, жизни, этнографии, истории. Поэт мечется из стороны в сторону. Он даже думает покинуть драматическую форму и временно останавливается на мысли написать поэму «Поэма на Кавказе. Герой – пророк», как гласит небольшая пометка.

Наконец, воображение его остановилось на Испании. Ни одна страна не могла представить данных, более удобных для составления драм. Тут, казалось, и не требовалось особого изучения нравов и жизни. Молодой фантазии услужливо представлялись: гордый своими предками, закоренелый в сословных предрассудках кастилец, инквизитор, иезуит, наемный убийца, преследуемый жид. Тут – убийства, кровь, зарево костров и благородная отвага, луна, любовь и балкон, с ангелом на балконе и с певцом под ним. В эту страну перенес и другой великий поэт XIX века, Генрих Гейне, свою молодую фантазию, и одной из первых его драматических попыток была драма из этой воображаемой романтической испанской жизни «Альманзор», с дикой страстью, с убийством и кровью. В порывистых и страстных натурах Гейне и Лермонтова было некоторое сходство.

Но кроме причин, приковывавших фантазию молодого Михаила Юрьевича к испанской обстановке, его влекло к этой стране особое чувство: он видел в ней родину своих предков и воображал, что в нем течет испанская кровь.

Существовало предание о том, что фамилия Лермонтовых происходила от испанского владетельного герцога Лермы, который во время борьбы с маврами должен был бежать из Испании в Шотландию. Это предание было известно Михаилу Юрьевичу и долго ласкало его вооб-

ражение. Оно как бы утешало его и вознаграждало за обиды отцу. Знатная родня бабушки поэта не любила отца его. Воспоминание о том, что дочь Арсеньевой вышла замуж за бедного, незнатного армейского офицера, многих корбило. Немудрено, что мальчик наслушался, хотя бы и от многочисленной дворни, о захудалости своего рода. Тем сильнее и болезненнее хватался он за призрачные сказания о бывшем величии рода своего. Долгое время Михаил Юрьевич и подписывался под письмами и стихотворениями: «Лерма». Недаром и в сильно влиявшем на него Шиллере он встречался с именем графа Лермы в драме «Дон Карлос». В 1830 или 1831 году Лермонтов в доме Лопухиных на углу Поварской и Молчановки начертил на стене углем голову (поясной портрет), вероятно, воображаемого предка. Он был изображен в средневековом испанском костюме, с испанской бородкой, широким кружевным воротником и с цепью ордена Золотого руна вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части лица нетрудно заметить фамильное сходство с самим нашим поэтом. Голова эта, нарисованная *al fresco*, была затерта при поправлении штукатурки, и приятель поэта Алексей Александрович Лопухин был этим очень опечален, потому что с рисунком связывалось много воспоминаний о дружеских беседах и мечтаниях. Тогда Лермонтов нарисовал такую же голову на холсте и выслал ее Лопухину из Петербурга<sup>45</sup>. Испания стала страной поэтической фантазии юного поэта.

Даже действие любимого, много лет занимавшего поэта произведения «Демон» в наброске 1830 года происходит в Испании.

Раз найдя почву для драматического сюжета, Лермонтов с жаром принимается за него, и в тетрадах среди лирических произведений мы постоянно натываемся на наброски планов, имен, сцен, действующих лиц и наречий, касающихся трагедии «Испанцы»<sup>46</sup>.

Герой трагедии, пылкий и благородный Фернандо, безродный найденыш, воспитанный в доме гордого испанского дворянина Альвареца, влюбляется в дочь дон Альвареца прекрасную Эмилию, преступной страстью к которой увлечен патер Соррини, иезуит и член инквизиции. Альварец выгоняет Фернандо за дерзновенное помышление жениться на Эмили. В длинной тираде перед портретами предков он прославляет значение знатного рода. В ответ на это юный поэт заставляет Фернандо высказывать мысли личной симпатии к народу. Видно, его занимал вопрос взаимных отношений знати к простолюдину. В одной из черновых тетрадей мы встречаемся с наброском мысли: «В первом действии моей трагедии молодой испанец говорит отцу своей любовницы, что благородные для того не сближаются с простым народом, что боятся, дабы не увидели, что они еще хуже его», и действительно мысль эту поэт вносит в трагедию [т. IV, стр. 16].

Злая мачеха Эмили, вторая жена Альвареца, желая избавиться от падчерицы, входит в заговор с Соррини, который выкрадывает молодую девушку и прячет у себя. Фернандо находит ее в момент величайшей для нее опасности и, оберегая от позора, закалывает. Мимо оторопевшего Соррини и слуг его он уходит с дорогим трупом и приносит его в родительский дом. Соррини поднимает на ноги инквизицию. Фернандо окружают, боятся, однако, подойти к нему. Фернандо серьезно и не думает защищаться и просит только, чтобы Соррини позволил ему умереть с прядью волос, отрезанных у мертвой Эмили.

ФЕРНАНДО (*к Соррини*)

<sup>45</sup> Ср. письмо к Лопухиной от 2 сент. 1832 г., т. V, стр. 387. — О подробностях мне рассказывала Ел. Дм. Лопухина. В материалах Хохрякова находится обрывок письма А. А. Лопухина к Лермонтову от 25 февр. 1833 года, где говорится: «Очень, очень тебе благодарен за твою голову: она меня очень восхищает и между тем иногда грусть наводит, когда я в ипохондрии». — Сын Алексея Александровича подарил голову в Лермонтовский музей.

<sup>46</sup> См. соч. т. IV стр. 10—116. Рукописи драм «Испанцы», «Странный человек» и «Два брата» находились у Бориса Николаевича Чичерина и получены им от Екатерины Петровны Осиповой, проживавшей в доме Арсеньевой во время детства поэта и скончавшейся в доме Чичериных в Тамбове. Г. Чичерин принес рукописи в дар Лермонтовскому музею.

Ты видишь этот черный пук волос!  
Пускай они горят со мной; сегодня  
Я их отрезал с головы ее!  
*(указывает на тело Эмили).*  
Пред смертью не снимайте их с меня —  
Они вам не мешают.

СОРРИНИ

Нет, нельзя!  
Никак нельзя.

ФЕРНАНДО

Последняя мольба!  
*(Скрежещет зубами.)*  
Поверь мне, эти волосы никак  
Тебе не помешают слышать крики  
Мои, которые железо пытки  
Исторгнет!..

СОРРИНИ

Нет, никак нельзя!..  
Их вид твои страдания облегчит,  
Но этого не хочет суд.

*(Действие V, сцена 1-я.)*

Когда и эта последняя просьба не признана, Фернандо бросается заколоть Соррини, но только легко ранит его в руку. В этой неудаче он видит указание неба и смиряется.

ФЕРНАНДО *(к Соррини).*

Ныне вижу,  
Что не исполнил ты свое предназначенье  
И меру всех твоих злодейств. Творец  
Свидетель мне: хотел очистить землю я  
От зверя этого... Презренный человек!  
Он отвратительнее для меня,  
Чем все орудья пытки.  
*(Бросает кинжал на землю.)*

Прочь, неверный  
Металл! Ты мне служил как люди:  
Помог убить невинность, притупился  
О грудь злодея... Прочь, изменник!

Видя, что он безоружен, его схватывают.  
В последнем действии народ толкует, ожидая казни Фернандо.  
ОДИН ИЗ ТОЛПЫ

Все кончилось! Я был в суде, Фернандо  
Ведут на казнь. Его пытали долго,  
Вопросы делали... Он все молчал, ни слова  
Они не вырвали у гордого Фернандо —  
И скоро мы увидим дым и пламя...

Но этим не оканчивается – этого мало! Оказывается, что Фернандо – сын им спасенного еврея, который раньше приютил израненного подосланными убийцами Фернандо. У еврея есть дочь. Она, узнав о судьбе Фернандо, сходит с ума и умирает.

В этой трагедии легко отыскать влияние прочитанного в то время Лермонтовым. Тут видны драмы Шиллера – «Разбойники» и «Коварство и любовь». Только краски Лермонтов постарался наложить ярче. Так, в последней из названных драм Шиллера Фердинанд, желая спасти опозоренную любимую им девушку, грозит заколоть ее, но не выполняет этого. Фернандо у Лермонтова исполнил угрозу. В 1830 году драмы Шиллера – «Разбойники» и «Коварство и любовь» – давались в Москве с участием Молчанова, и Лермонтов говорит о том, что видел их на сцене. Тем понятнее их влияние. Под влиянием этих пьес, дававшихся на московской сцене, находился в то время и Белинский. Они-то и побудили его написать драму<sup>47</sup>.

Повлияло на Лермонтова, очевидно, и чтение «Натана Мудрого» Лессинга. В лермонтовской драме «Испанцы» старый еврей с дочкою Ноэми и старухой служанкой – совершенный сколок с Натана Мудрого, его дочери и старой ее няни. У Лермонтова, как у Лессинга, под конец драмы герой ее оказывается братом молодой еврейки. Сама симпатия Лермонтова к старому еврею, выставленному честным и правдивым, навеевна, очевидно, Лессингом. У Лермонтова, как и у Лессинга, герой сначала морщился и презрительно относился к благодетельствованному им «жиду» и позднее лишь побеждается мудростью отца и добродетелью дочери. Впрочем, в первую половину XIX века, под влиянием западной литературы и веяния времени, сильно распространена была склонность покровительствовать «угнетаемым» евреям. Бывали примеры, что помещики ютили у себя целыми семьями гонимых бездомных сынов Израиля. Так, князь Гагарин в имении своем Окны на видном месте выстроил евреям целый посад, исходя из того воззрения, что хорошее обращение и обстановка делают людей лучше. Неудивительно, что идеальная натура и романтическое настроение увлекло мальчика-поэта. Во многих набросках и стихотворениях того времени мы встречаем интерес его к евреям.

Спокойный и радужный конец лессинговой драмы не соответствовал тогдашним понятиям Михаила Юрьевича, и он в своей драме губит и героя, и еврейку, и, кажется, старика отца. Говорю *кажется*, потому что последняя страница трагедии «Испанцы» утеряна, но по ходу можно так предположить.

Влияние немецких поэтов было столь ощутимо, что вторую трагедию свою, писанную одновременно с «Испанцами», Лермонтов озаглавил по-немецки: «Menschen und Leidenschaften. – Ein Trauerspiel»<sup>48</sup>. В черновых тетрадах того времени мы не только встречаемся с переводами из Гете и Шиллера, как замечено выше, но даже со стихами на немецком языке, очевидно, сочиненными самим Михаилом Юрьевичем [т. I, стр. 183, 196].

---

<sup>47</sup> См. Пыпин. Жизнь Белинского, т. I, стр. 52.

<sup>48</sup> «Люди и страсти. Трагедия» (нем.).

## Глава IV

*Драма «Menschen und Leidenschaften». – Меж двух огней. – Катастрофа. – Отец и сын. – Чрезмерная любовь*

Вторая написанная Лермонтовым трагедия «Menschen und Leidenschaften» [«Люди и страсти»] представляет собой особенный автобиографический интерес [т. III, стр. 117]. В ней описан эпизод из времен его юношеских страданий<sup>49</sup>, положивших печать на впечатлительную душу поэта. Драма эта особенно ясно рисует нам события весьма важные для уразумения характера Михаила Юрьевича и объясняет многое, что без нее оставалось для нас лишь в области догадок. По-видимому, Лермонтов написал эту трагедию в момент, когда дурные отношения между бабушкой и отцом его обострились до вызова катастрофы. Изображением и разъяснением событий молодой поэт как бы дает выход волновавшим его чувствам, он изливает их в целом ряде сцен, в которых выводит себя и близких домашних и родных. Под гнетом страдания, в аффекте страсти, он накладывает краски слишком яркие, так что позднее сам считает нужным смягчить их, пощадить некоторых лиц, осветить их менее пристрастно – и пишет другую драму «Странный человек», одинакового с предыдущей автобиографического значения.

Событием, вызвавшим этот странный порыв, был, кажется, окончательный разрыв между отцом Михаила Юрьевича и бабушкой его. С самого того времени, когда, спустя девять дней со смерти жены, Юрий Петрович уехал из бывших под его управлением Тархан, а потом потребовал к себе сына, бабушка постоянно боялась за потерю внука. Ей представлялось, что вот-вот нагрянет отец и отнимет или увезет Михаила Юрьевича. Поэтому мальчика берегли и хранили строго. Старожилы в Тарханах рассказывали мне, что когда Юрий Петрович приезжал навестить сына, то Мишу или увозили и прятали где-либо в соседнем имении, или же посылали гонцов в Саратовскую губернию к брату бабушки Афанасию Алексеевичу Столыпину звать его на помощь против возможных посягательств Юрия Петровича, чего доброго замыслившего отнять Мишеля<sup>50</sup>. Страх потерять внука, очевидно, доходит у бабушки до болезненных размеров. Из диалогов действующих лиц в драме мы узнаем все обстоятельства детства Юрия Волина, то есть Михаила Лермонтова. Самое начало распри излагается в рассказе Василия Михайловича Волина [т. IV, стр. 143]. Но уже в начале драмы, в первом явлении, между слугами происходит разговор, который вполне характеризует положение дел [стр. 119].

ИВАН: А можно спросить, отчего, барыня, вы ссоритесь с Николаем Михайловичем? Кажись бы не отчего – близкая родня.

---

<sup>49</sup> В материалах г. Хохрякова мы находим следующую пометку при перечислении действующих лиц драмы как они напечатаны в сочин. т. III, стр. 118: М. И. Громова – бабушка Лермонтова; И. М. Волин – отец Лермонтова; Ю. Ник. Волин – сам Михаил Лермонтов; В. М. Волин – брат отца Лермонтова (?); Любовь и Элиза – двоюродные сестры Лермонтова; Заруцкий – Столыпин (Монго?); Дарья – нянька Лермонтова; Иван – слуга, муж Дарьи. Он привез потом тело Лермонтова из Пятигорска в Тарханы. – Тут же г. Хохряков замечает со слов С. Раевского, что Лермонтов стрелялся со Столыпиным из-за двоюродной сестры.

<sup>50</sup> См. выше глава I, стр. 16 и сравни соч. т. IV, стр. 143. В материалах своих г. Хохряков говорит: «Елизавета Алексеевна дала отцу Лермонтова деньги, лишь бы он не брал сына. Может быть, деньги были даны, чтобы кончить ссоры об имении?» В прим. 52 в статье моей в «Русской Мысли» дек. 1881 года я сообщал, что собранные г. Журавлевым сведения от тархановских жителей согласуются с тем, что говорит Лермонтов в драме своей «Menschen und Leidenschaften». Сведения эти получены мною раньше, чем вышло ефремовское издание «Юношеских драм Лермонтова», так что если и предположить, что старожилы тархановские следят за всем новым в нашей литературе, то на этот раз уж они никак не могли почерпнуть из новой книги переданные г. Журавлеву сведения. Г. Пыпин [«Соч. Лерм.» изд. 1873 г., стр. XVII] указывает, на основании сообщений А. З. Зиновьева и того, что замечает г. Бартенев [Рус. Арх., 1872 г., стр. 1852], на автобиографическое значение драмы «Menschen und Leidenschaften». То же и г. Ефремов [«Соч. Лерм.», т. II, стр. 614, и «Юнош. др.», стр. 320]. Дудышкин, прим. ко II т., изд. 1860 г., стр. 650].



ДАРЬЯ: Не отчего? Как не отчего? Погоди – я тебе все это дело-то расскажу. Вишь ты: я еще была девчонкой, как Марья Дмитриевна, дочь нашей боярыни, скончалась – оставя сынка. Все плакали как сумасшедшие – наша барыня больше всех. Потом она просила, чтоб оставить ей внука, Юрья Николаича – отец-то сначала не соглашался, но наконец его улакомили, и он, оставя сынка, да и отправился к себе в отчину. Наконец ему вздумалось к нам приехать – а слухи-то и дошли от добрых людей, что он отнимет у нас Юрья Николаича. Вот от этого с тех пор они и в ссоре.

Содержание драмы поясняет нам, и поясняет подробно, отношения между Лермонтовым и Арсеньевой. Она не только подтверждает догадки биографа, но и дополняет указания современников. Мы вполне понимаем, что было причиной, побудившей Юрия Петровича оставить сына у бабушки. Видим, что он решился сделать это на то время, пока мальчику нужен был женский присмотр. Подобные соображения, просьбы бабушки и сознание, что недостаток средств не позволит дать Мише тщательного воспитания, побудили отца временно с ним расстаться. Однако он не совсем отчуждается, он думает навещать сына. Разлука его грызет, и вот, приезжая, он вместо ласки и задушевности встречает в теще подозрительность, боязнь насилия с его стороны; от него стараются скрыться в другом имении, вызывают родных на защиту. Все это, конечно, далеко не может действовать успокоительно на Юрия Петровича. Легко понять, что впечатлительный, вспыльчивый характер должен был увлечь его опять на выходки, которые, конечно, не могли успокоить тещу. Так росли взаимное недоверие и неприязнь. Из некоторых данных в драме [т. IV, стр. 135, 143–145] можно заключить и еще об одном обстоятельстве. Кажется, Юрию Петровичу было обещано, что если он сына оставит у бабушки, то ему отдадут причитавшееся за покойной женой имение, которое должно было перейти к сыну. Юрий Петрович ведь и управлял этим имением при жизни жены, ему ближе всего было стать опекуном будущего состояния сына. Сгорая, в первые дни горя по смерти дочери, мать так и думала поступить. Все это было сделано на словах. Когда же прошла первая скорбь, часто сближающая, по общности своей, всех, ею пораженных, когда произошло затем первое столкновение, когда бабушка болезненно стала опасаться увоза от нее дорогого внука, единственную радость свою, тогда невольно стала настороже. Добрые люди, всегда охотно подливающие масло в огонь, укрепили ее в мыслях, что состоянием своим она может держать в руках зятя. Вся родня Арсеньевой отличалась, как мы сказали уже, своей правдивостью, исполнением данного слова и принятых обязанностей. Но эта же родня отличалась и вспыльчивостью, и упрямством, да и общим тогда на Руси свойством сильных, своеобразных натур – самодурством. «Не хотел, дескать, как я хочу, – ну, так не будет же и по-твоему». Должно быть, не мягко обошелся с бабушкой и Юрий Петрович, может быть, какой-либо выходкой он сам подкопал свое нравственное право. Ему нашептали, что бабушка хочет отнять у него имение [т. IV, стр. 130], а бабушке, что Юрий Петрович уступил ей сына только временно, пока не заберет денежки в руки, а там и Мишу возьмет – значит, силу из рук нельзя выпускать. Вот бабушка и решила, что Юрий Петрович действиями своими утратил право на обещание, ему данное, да и для блага Миши надо ей поступить решительно. Она объявила, что если Юрий Петрович возьмет сына, то она лишит его наследства.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.